МИХ. РОЗАНОВ

СОЛОВЕЦКИЙ КОНЦЛАГЕРЬ В МОНАСТЫРЕ

1922 – 1939 годы

ФАКТЫ · ДОМЫСЛЫ · «ПАРАШИ»

ОБЗОР ВОСПОМИНАНИЙ СОЛОВЧАН СОЛОВЧАНАМИ

В ТРЕХ КНИГАХ
КНИГА ТРЕТЬЯ

ДОПОЛНЕНИЯ

1987 г.

МИХ. РОЗАНОВ

СОЛОВЕЦКИЙ КОНЦЛАГЕРЬ В МОНАСТЫРЕ

1922 – 1939 годы

ФАКТЫ · ДОМЫСЛЫ · «ПАРАШИ»

ОБЗОР ВОСПОМИНАНИЙ СОЛОВЧАН СОЛОВЧАНАМИ

В ТРЕХ КНИГАХ
КНИГА ТРЕТЬЯ

ДОПОЛНЕНИЯ

1987 г.

ISBN 3-7912-2017-9

© By the Author, 1987
Printed in West Germany
by Possev-Verlag, V. Gorachek KG
Frankfurt am Main

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

В первых двух книгах о Соловках я смог с помощью тоже старого соловчанина, покойного Г. А. Хомякова (Г. Андреева, Отрадина) дать обзор лишь тех материалов, которые тогда удалось отыскать. С той поры – за шесть лет – нашлись и другие публикации – как старые, так и новые, да кое-что узнал лично от доживающих в Америке соловчан. Одни дают дополнительные веские подтверждения моим ранее недостаточно обоснованным утверждениям, у других – местами видно отсутствие охоты или способности задуматься: да могло ли быть такое, не подводит ли память, не „парашу" ли передаю за достоверное?

Кое-когда и кое в чем стал жертвой таких соловчан и сам прославленный создатель трехтомной эпопеи о ГУЛАГе – в главе „Архипелаг возникает из моря". Из-за нее-то и взялся я за перо, а попутно пришлось остановиться и на других ошибках и умолчаниях летописцев.

„Дополнения" рассчитаны на тех, кто имеет особый интерес к обстановке на Соловках в годы НЭПа и первой пятилетки, т. е. еще при детстве большевизма, чтобы сопоставить ее с обстановкой в лагерях 60-80 гг. – по публикациям новых сидельцев – для серьезных и далеко ведущих отсюда размышлений. К сожалению, такие люди теперь редко встречаются. С учетом „отмирания" интереса к первым концлагерям, эти „Дополнения" изданы крайне малым тиражом.

Как на первые две книги, так и на эту, откликов в печати не ожидаю. Впрочем, краем уха слыхал, будто кто-то хочет пропеть мне здравицу, так ее заглушит хор с другого клироса.

Говорить о прибыльности моего „самиздата" смешно, а могут при случае посудачить – и посудачат! – о том, чего ради занялся я столь опасным пересмотром темы, профессионально уже разжеванной для „мудрых пескарей", и убыточным для самого автора.

Повторю и тем закончу: для будущих историков оставляю эту книгу, для истории ее писал как современник, чтобы совесть моя была чиста.

Мих. Розанов

Август 1986 г.

ВСТАВКИ, СНОСКИ И ПОПРАВКИ К ПЕРВОЙ КНИГЕ „СОЛОВЕЦКИЙ КОНЦЛАГЕРЬ В МОНАСТЫРЕ"

Добавление к главе „Соловецкие летописцы" (стр. 31) после слов „...и все испытанное подробно изложила":

* *
*

... За годы после издания обзора воспоминаний соловчан, т. е. между 1980 и 1985 гг., мое знакомство с ними пополнилось еще несколькими печатными работами и рукописями. Они тоже ценны в первую очередь для будущих историков и для немногих доживающих свой век свидетелей большевистских концлагерей 20-х и начала 30-х гг.

Как уже отмечено в моих книгах, и эти новые материалы к истории концлагеря в Соловецком монастыре часто передают не столько о лично виденном и пережитом, сколько о слышанном, разукрашенном „парашами", а то и сочиненном тамошними „органами" ИСЧ–ИСО – и через стукачей „спущенном в массу", чтобы извратить факты. Особенно страдают такими отклонениями от объективности мемуары в тех случаях, когда они готовились для заграницы и вне СССР на тему о лагерях – о всех лагерях и про все довоенные годы, – у таких авторов издателями и критиками чаще ценилась не столько сухая, объективно изложенная и поясненная правда, сколько обилие хлестких и „оглушающих" (по объему и подаче иностранному читателю) лагерных картин. Впрочем, обо всем этом много раз и прямо, и косвенно, и в мягких выражениях, и резко напоминалось в моих книгах. Сейчас они лишь дополняются примерами из новых источников. Таких источников всего семь, включенных теперь в библиографический указатель, – не считая отдельных ссылок на другие книги, статьи и журналы, как, например, на „Архив русской революции" Гессе-

на, выходивший в Берлине в двадцатых годах, или, скажем, Соловецкий патерик издания 1873 года.

Ограничимся краткой оценкой особенностей каждого нового источника. Выдержки из них приводятся в тексте.

Первым ценным и наиболее достоверным и документированным надо признать сборник на английском языке „Письма из русских тюрем", изданный в Нью-Йорке в 1925 г. по инициативе московского корреспондента Исаака Дон Левина на основе писем и заявлений ссыльных и заключенных социалистов, главным образом тех, кто отбывал заключение в 1923–1925 гг. на Соловках. В журнале „Континент" недавно скончавшийся Дон Левин повторил прямо-таки поражающие (ограниченным кругозором их авторов) оценки его рукописи, принадлежащие тогдашним „властителям прогрессивных дум", начиная с Эйнштейна, Бертрана Рассела, Герберта Уэллса, Синклера Льюиса и др. Жаль, что многие из этих лиц не дожили до дней, когда при „выборочной рубке" не только щепок, но и леса-то почти не осталось...

Вторым по достоверности, с намерением держаться правды, можно считать самиздатовский сборник „Память", составляемый диссидентами в Москве и переиздаваемый в Нью-Йорке и Париже (№№ 1–5). К сожалению, пока что в этих больших по объему сборниках мало и кратко рассказывается о Соловках, зато без развесистой клюквы, не переперчивая, так как живые авторы-соловчане пребывают внутри СССР, т. е. в зоне досягаемости „органов".

Чрезвычайно ценным для истории начальных репрессий, правда, малоизвестным, надо признать сборник „Че-Ка", выпущенный в 1922 г. в Берлине правыми эсерами с предисловием их лидера В. М. Чернова. В статьях для сборника эсеры рассказали о лично пережитом или происходившем на их глазах в 1918–1921 гг. в Бутырках, Таганке, Лефортове, Ярославской тюрьме и на Лубянке № 2 и № 11 с их „кораблями смерти" и „гаражами расстрелов", с портретами ряда чекистов и палачей-исполнителей. Среди приводимых имен встретились и такие – вскоре посланные на Соловки на „укрепление кадров" и нам знакомые Вейс, Головкин (оба вольные). Ценность сборника понижает выпячивание усиленных в тот отрезок времени расстрелов уголовников, грабивших склады, банки, вагоны, особенно отказавшихся от предложения Вуля (начальника бандотдела ВЧК) перейти к чекистам „на службу". Из-за этого „чтива" бледнеют наброски о поведении перед расстрелом царских сановников, и совсем уж вскользь, как мелкая рыбешка в сетях ВЧК, недостойная пера политиков, упоминаются „обыватели", представлявшие и тогда основной состав подследственных и заключенных. В этом сборнике приведена анонимная корреспонденция, где впервые упоминается, что „лагерь в Холмогоры пере-

веден с Соловков в мае 1921 г.". Это сообщение рассмотрим ниже, добавив другие соображения в подтверждение его обоснованности, хотя лагерь этот или пересылка для разоруженных отрядов Северной армии ген. Миллера к Соловецкому концлагерю ОГПУ прямого отношения, по-видимому, не имеет.

В „Новом Журнале" (№ 141, 1981 г., стр. 146–175) Р. Мартыновым опубликована рукопись неизвестного сидельца „Соловки", найденная в Женевской библиотеке. Освободившийся осенью 1927 года соловчанин, какими-то путями достигший Запада, оставил свои воспоминания про обстановку в концлагере в годы, описанные сидельцами первых лет. Рукопись эта особенно ценна тем, что автор, видимо, старался оставаться трезвым свидетелем виденного и услышанного, но лично о себе хранит гробовое молчание. В его рукописи не раз и не два находим „разночтения" с тем, что опубликовано о Соловках на Западе. К ней придется часто возвращаться – как подтверждающей или отрицающей ранее опубликованное Мальсаговым и Клингером или – после них – Седерхольмом, Зайцевым, Киселевым-Громовым и Ширяевым.

Почему эта рукопись не увидела света тогда же, хотя отдельные места из нее приводились в публикациях Лиги Обера (как указывает Мартынов), – на это немногими словами не ответишь. Лично я главной причиной „заговора молчания" счел бы неприкрытую антипатию ее автора к евреям, по его словам „занявшим все выгодные для арестантов места на Соловках". „Отлично, – пишет он, – всегда умели устраиваться евреи, в большинстве это были все спекулянты, торговцы, валютчики, комиссионеры, проворовавшиеся служащие трестов и кооперативов... Эти проныры умели находить теплые местечки и самую легкую работу. Евреи же руководили лесными разработками и материальными складами, портняжной, обувной, устраивались при лазаретах, были докторами, дантистами, а один из них, Френкель... умудрился стать у Эйхманса главным заведующим хозяйством и всеми предприятиями на островах. Большинство чекистов были высылаемы за взятки и кражи; много было между ними следователей ГПУ, и между этими последними масса евреев".

Добавьте из этой же рукописи к „массе евреев" неизбежных спутников НЭПа (и вообще всякой коммерции) – „проныр", да к ним „сотни и сотни доносчиков – „стукачей" из интеллигентных заключенных" (стр. 151), да еще держите в уме „уголовников, одинаково мужчин и женщин, ставших преобладающим элементом" (стр. 167), – и вот уже, хотел этого наш летописец или нет, у читателя создано представление о соловчанах: что заслужили, то и получили, и нечего о таких проливать слезы и строчить мемуары. И наказывали их там Секиркой, комарами и каменными мешками, видно, за дело.

Все же и при таком „уклоне" в этой рукописи о первой *лагерной* пятилетке много верных известий, не без того, конечно, чтобы начисто избежать „параш", слухов и домыслов, что и будет нами дальше учтено.

С последним этапом 1929 г., занесшим „азиатский тиф" на острова, с партией из Нижнего Поволжья доставили на пристань и в карантин в конюшню сельхоза моложавого В.В.М. (под этими инициалами мы и будем его дальше цитировать). Полвека спустя, уже в Калифорнии, он стал обдумывать, как изложить свою „одиссею" на Соловках, в Кеми, Свири и Беломорканале, пока не прочел „Архипелага", – и тогда вооружился пером. Так и озаглавлена его книжечка в 60 страничек: „Мои воспоминания о ГУМЗАКе и ГУЛАГе (На фоне солженицынского 'Архипелага ГУЛАГ')" (1977, США).

Дать о ней краткий отзыв едва ли не выше моих способностей, а пространный, испещренный междометиями, вышел бы тяжелее тома „Архипелага". Но и обойти молчанием такую публикацию не позволяет долг.

Собственно Соловкам в ней из 60 страниц отведена половина, да и в ней на 80-90% передается не лично виденное, а слышанное от других о событиях до приезда автора на остров. Вторая половина, в отличие от первой, проще изложена и более правдоподобна – рассказ о Свирьлаге его дней.

„Мои воспоминания..." будто бы начали печатать в одной из наших газет – и вдруг прекратили. Что успели тиснуть, не знаю. Речь идет не о „Новом русском слове", которое В.В.М. называет „неоценимым" за материалы о концлагерях и за серию статей „Попутные заметки" покойного теперь соловчанина Отрадина „с весьма правильными замечаниями и поправками", потому что „читая „Архипелаг", находишь то, чего нельзя принять за чистую монету, – неточности, искажения и неразбериха" (стр. 1 и 2).

О себе В.В.М. сообщает: в концлагерях из 10 лет (по приговору) пробыл около восьми, из них „первые шесть лет проработал по линии УРО, УРЧе и УРБе, исколесив вдоль и поперек Северные лагеря. Поэтому по термину лагерного жаргона считали меня выросшим и прожившим в концлагерях. Волей-неволей я много видел, испытал и знал" (стр. 2). Самооценка, что и говорить, многообещающая. Посмотрим, что узнаем от него дальше.

За четкий почерк и „как члена партии доходяг" начальник Соловков Зарин утвердил его „приказистом", но прежде заставил вернуться в ожидалку и выбросить обратно в умывальник только что собранные там для обмена на хлеб мокрые, протекавшие по штанам окурки.

„Приказы писались, – вспоминает он, – не каждый день. Так что от 1921 г. (?! – М. Р.) и до меня даже половина книги не была исписана... Я с большим интересом набросился на просмотр приказов начальников, начиная с Ногтева" (стр. 12).

Вот теперь-то послушаем, что он там вычитал! Ведь это так важно знать историку особенно потому, что давно названы две даты открытия концлагеря на острове: 1922 или 1923 год. Может, ту книгу приказов 1921 г. Ногтев привез с собой из СЕВЛОНа, из Архангельска, когда в 1923 г. переправлял на Соловки социалистов и остатки белых и кронштадтцев из Холмогор и Пертоминска? Или она осталась в наследство концлагерю от „наркомюстовцев, покинувших Соловки после налаживания хозяйственно-производственной деятельности", вот этого самого „показательного совхоза Наркомзема", по объяснению Клингера? А вдруг да СЛОН на острове на самом деле существовал уже с 1921 года! Темна вода во облацех. Не прояснит ли дело В.В.М.? Но нет: В.В.М. сразу переходит к истории о Курилке. Оказывается, этого „безграмотного, но представительного дурака" прислали из Кеми с предписанием назначить комендантом, но вскоре „под арестом направили на материк, и с той поры (т. е. с осени 1927 г. и до расстрела Курилки летом 1930 г. – М. Р.) я о нем ничего не знаю".

Попытаюсь все же поискать в куче наваленных В.В.М. событий „жемчужные зерна", а пока ограничусь несколькими выписками из его книжки, хотя будущие историки и без меня знают, что бумага все терпит, и так к ней подойдут:

1. „Френкеля я знал хорошо. В Кеми мы жили в одном лагпункте и вместе работали в УСЛОНе. Френкель никогда возглавителем или ответственным не был. Он работал регистратором, потом калькулятором. Френкель боялся умереть и частенько напевал „цыпленок жареный, цыпленок пареный...". Правда, при освобождении Френкель пришил красные петлицы, прицепил звездочку и получил назначение на должность начальника Байкало-Амурской магистрали, но для этого много не требовалось, лишь одно – быть идиотом" (стр. 41).

Тут у кого-то ум за разум зашел, не у ГУЛАГа ли?..

2. „На стр. 10 первого тома „Архипелага" Солженицын говорит, что редактором этой (солженицынской. – М. Р.) книги должен был быть старый соловчанин Витковский. Я знал его хорошо по Соловкам. Он был освобожден в 1931 г., затем снова, по второму сроку, прибыл на Беломорканал. Там и тут, иногда и подолгу, мы жили вместе и ели с одного котелка. Я ему очень обязан и вовек его не забуду (стр. 51). Той же пригоревшей кашей и отбросами, которыми ежедневно ведрами снабжали меня земляки-кашевары в Кремле, я даже спас от смерти Витковского. По его совету я начал активно участвовать в концертных программах клуба. И так пристроился к лагерной жизни" (стр. 22).

Витковский был известен на Соловках, в Белбалтлаге и Туломе под своей настоящей фамилией – Д. П. Верховский и в Соловецком кремле никогда не был. На Соловки отправлен из Кеми в мае 1931 г., т. е. в том же месяце, что и я. У Верховского в формуляре стоял „центральный запрет", у меня – „склонен к побегу". Осенью того же 1931 года, поработав на Муксольме, на водорослях и на Анзере, Верховский был отправлен на Беломорский канал с краткой задержкой на Морсплаве. На ББК его назначили прорабом одного из шлюзов (стр. 159 и 164 его летописи „Полжизни" в сборнике „XX век").

Повстречаться в лагерях с В.В.М. Верховский никак не мог, так как места их пребывания в лагерях, род работы и даты совершенно не совпадают. В.В.М. еще в конце октября 1930 г. с партией в 50 человек, напутствуемой Успенским („Мы вам доверяем..."), покинул остров (стр. 34). Их отправили как опытные уже кадры для новых лагпунктов в Свирских и Беломорских лагерях. В.В.М. как-то задержался в Кеми, оказавшись в УРО УСЛОНа, и лишь в мае 1931 г. с партией из 40 „отделенческих работников" отправлен дальше на юг для приема новых этапов в Повенец и на реку Свирь (стр. 42).

Ограничимся пока этими двумя коррективами как предварительной оценкой достоверности книги „Мои воспоминания" – о Соловках.

Закончим сводку источников совсем кратким обзором тоже небольшой книжечки С. Д. Протопопова „Из поездки в Соловецкий монастырь" (с рисунками и снимками. Типография Сытина, Москва, 1905). Никаких указаний об авторе ни в старых, ни в советских справочниках не нашлось, сам о себе он хранит молчание. В отличие от паломников из „простонародья", он принадлежит к „чистой публике", ехал первым классом, в Святом озере не купался, в соборах, видимо, не бывал, к мощам не прикладывался и благоговения не испытывал. Зато лишь от него узнаем размеры и названия соловецких пароходов – „Соловецк" и „Архангел Михаил", их доходность за счет опасной перегруженности, узнаем про долголетнюю и дорогостоящую переделку упрямым архимандритом парохода „Вера" (при концлагере – „Глеб Бокий") и о многом другом, на что богомольцы не обращали внимания: о клопах, грязных диванах, об умывальниках в гостиницах только в отхожих местах с дощечкой „С о р т и р" и со стенами в них, замаранными „сынами отечества" еще с 1880 года; о ценах за проезд от кремля до Реболды и за поминовение; об эксплуатации „трудников", „дурном" климате, серой панораме вдоль дорог и даже с высоты Секирной и Голгофской гор, восхищавших и Немировича-Данченко, и Пришвина, и Горького. Кое-что из информа-

ции Протопопова надо бы добавить в главу о Пришвине, дважды побывавшем на Соловках: в 1903 г. (тоже без паломнических позывов) и в 1934 г., чтобы отметить вид кремля после пожара, отсутствие чаек, ··· и умолчать о заключенных, словно их там тогда не было.

Последний шестистрочный абзац на той же 31-й странице должен сегодня выглядеть так: необходимо вычеркнуть „Андреев-Отрадин" (умер в 1984 году в США) и вставить „В.В.М.".

Вставка к стр. 33 (между предпоследним и последним абзацами):

Все же жизнь монастыря не могла не нарушаться военными и политическими событиями на Севере. 6-го сентября 1918 года группа офицеров-монархистов, недовольных левым составом Временного Управления во главе с Чайковским, арестовала его и отправила на Соловки. Как им там жилось – наверное где-то записано. Север остался без власти. Послы Франции, Англии и Соединенных Штатов Америки „на бурном совещании" потребовали ареста „главнокомандующего" капитана Чаплина (Томпсона) и участников его „путча" и возвращения Н. В. Чайковского. Последнему было поручено укомплектовать правительство сторонниками более умеренных элементов. Через каких-нибудь четыре месяца (24 января 1919 г.) разочарованный Чайковский покинул Архангельск и в Париже вошел в состав дипломатической делегации. В конце сентября 1919 г. эвакуировались англичане, а вскоре, 10 февраля 1920 г., на ледоколе „Минин" покинул Север и ген. Миллер со всеми своими штабистами, интендантами и богатевшими около „военного пирога" спекулянтами и дельцами всякого рода. Набили ледокол также и ранеными и успевшими прибежать на пристань солдатами. Почти все „фронтовики", строевики оказались брошенными на произвол судьбы – без амуниции, без продовольствия, без надежд. Наступил развал и сдача на милость большевиков. Какова оказалась та „милость" о том есть много обстоятельных воспоминаний, в частности Бориса Соколова и С. Добровольского в берлинском журнале „Архив русской революции" (№№ 3–4). Да толково рассказал об этих последних днях обезглавленной армии и наш соловецкий летописец Ю. Бессонов в своей книге о побеге из Кеми в Финляндию. Не забывайте притом, что это были годы беспредельной власти и безудержных зверств ЧК. На Севере Дзержинского представлял Кедров, столь же кровожадный, как Бела Кун в Крыму. Часть разоруженных белых из офицерского состава отправили в Москву, часть – в тюрьмы Вологды и Архангельска, оставшихся недострелянными после следствия увезли в северные концлагеря погибать, если не от

пуль разношерстной охраны, то от голода, холода и эпидемий. В северных частях было много офицеров и партизан, так что для чекистов жизнь их не стоила и гроша. Об этом, повторяю, говорят десятки документов.

Но вот нигде не обнаружилось подтверждения вполне правдоподобному сообщению в сборнике „Че-Ка" на стр. 242–247, принадлежащему какой-то вольной медичке в монастырской больнице (лазарет на 200 коек), которая не открыла ни имени своего, ни причин службы в Холмогорах. Краткий ее рассказ, подписанный „ХХ", кажется достоверным. Он начинается так:

„Лагерь в Холмогоры переведен из Соловков в мае 1921 г. (разрядка моя. – М. Р.). Правда, и раньше посылались заключенные в Холмогоры, иногда даже целыми партиями, но до места назначения они не доходили, т. к. и лагеря-то там не было. Верстах в десяти от Холмогор, на берегу Северной Двины, стоит дер. Косково, за рекой раскинулась живописная еловая роща, в ней расположено несколько домов – это выселки из Косковой – сюда и привозят заключенных, в этой роще расстреливались десятки и сотни осужденных. До деревни долетали треск пулеметов, крики и стоны. Сколько там погребено человек, трудно сказать – жители окрестных деревень называют жуткую цифру в 8000 человек. Возможно, что она и меньше, но думаю, сопоставляя рассказы с разных сторон, что погребены здесь были тысячи. Холмогорский лагерь невелик. С мая по ноябрь (1921 г. – М. Р.) в нем перебывало 3000 человек, в ноябре числилось 1200 чел. – 600 чел. в Холмогорах и столько же в четырех лагерях, расположенных в округе на расстоянии 20–40 верст в Скиту, Селе, на Сухом Озере и на Горячем Озере".

Я оставляю в стороне условия, в каких содержали там заключенных, сколько их гибло от расстрелов первого коменданта Бач/х/улиса, от голода, холода, эпидемий. Свидетельница приводит о том факты и цифры.

Для настоящей работы самое важное – проверить брошенное ею как бы вскользь, побочное замечание про отправку заключенных в Холмогоры с Соловков весной 1921 года. Установив это как факт дополнительными свидетельствами (а их пока не нашли), – пришлось бы признать, что на Соловках содержались следственные или уже осужденные или просто пленные белые с осени или с лета 1920 года, т. е. вскоре после ликвидации последних очагов сопротивления красным на Севере. Покинутые верховным командованием, они стали дешевой добычей „северного Бела Куна" – Кедрова, уполномоченного ВЧК. Разослав сложивших оружие офицеров по тюрьмам и часть их отправив в Москву, рядовых белых он для большей безопасности вполне мог с материка переправить на остров, откуда ни зимой ни летом им не сбежать. Такое объяснение вполне в духе действий чекистов:

с малым риском и малыми силами уверенно держать пленных в своем кулаке.

Кроме этого рассуждения и приведенного свидетельства из сборника „Че-Ка", напомню еще один факт. Когда в начале июля 1923 года партию социалистов из Пертоминска перевезли в Соловки и привели к их новому „дому" большому Савватьевскому скиту, они (см. ниже рассказ Сапира) увидели его территорию уже огороженной колючей проволокой с вышками для охраны по углам. Не для правительства же Чайковского из нескольких человек так старались монархисты. Сюда, приказав спать „на ребрышках", можно было втиснуть куда больше двух-трех сотен социалистов. У социалистов были свои насущные первоочередные заботы, и они, к сожалению, не поинтересовались и не оставили записей, чьим трудом, когда, для кого и для чего была выполнена эта неизбежная деталь большевистской бдительности до них – колючка и вышки, и кто и когда содержался там. Поживем и, может быть, еще получим ответ, а не мы – так другое поколение. „Свежие" соловчане – кадры привоза 1922–1923 гг. – тоже не допытывались, чтобы сохранить головы при Ногтеве, а монахи молчали.

Однако мы, кажется, отошли от прямых задач книги. Вернемся к ним.

(Далее по тексту книги: „В 1921 г. все хозяйство..." и т. д.)

Вторая вставка к стр. 33, восьмая строка снизу (между фразой, кончающейся: „... монастырских ценностей", и следующей, начинающейся: „Но на Лубянке"):

Кто-то, видно, известил кого надо в центре, и в августе 1922 г. оттуда на Соловки приехала специальная комиссия Главмузея. Она осмотрела оставшиеся ценности и вывезла их для передачи центральным музеям. Вывезено, как сообщает Богуславский (стр. 92), в общей сложности около 4 кг золота, 1360 кг серебра и 1988 драгоценных камней, – „и это лишь небольшая часть тех материальных ценностей, что были раньше в ризнице", – поясняет он.

Эту комиссию Клингер (он тогда уже был на острове) называет археологической (стр. 160) и тоже подтверждает, что она смогла вывезти лишь жалкие остатки соловецких древностей и ценностей. „Чекистские культуртрегеры, – добавляет он, – к приезду комиссии спешно реставрировали ими же разрушенные кресты и могильные памятники".

В „Новом Журнале" автор рукописи иллюстрирует грабеж монастыря таким примером:

„Один из его героев, чекист, но бывший офицер из солдат, лично мне рассказывал, как он нашел в Преображенском соборе в кремле в нише за

образом большой образ-складень и несколько десятков медалей IX века и какого труда ему стоило вывезти все это незамеченным с острова, причем образ, хотя и признанный им исторической ценностью, ему пришлось сломать и сплющивать молотком для большей портативности".

По этому примеру можно заключить, что грабеж был все-таки скрытым, опасным даже для чекистов. Кто-то был послан на остров с высокими полномочиями следить и пресекать разгул охотников из своей же чекистской бражки.

Вставка к стр. 37, между первым и вторым снизу абзацами (после слов „... чекисты все же оставили"):

Четвертая версия из „Нового Журнала":

„После ухода англичан на Соловках осталось лишь 65 монахов. Всех остальных, кто не выехал самостоятельно раньше, англичане эвакуировали в Финляндию".

В „Истории Валаамского монастыря", недавно богато изданной православной церковью Финляндии (на английском языке), прямых подтверждений этого (вывоза монахов) не нашли. Все же в ней упомянуто, что какому-то числу монахов финского гражданства не дали. Его получили только те монахи, кто числился в штате обители на день передачи территории монастыря Финляндии. Остальных же („новых") монахов посчитали советскими подданными и выслали обратно в РСФСР.

Когда, как, сколь много, из каких русских монастырей, – может быть, из Соловецкого? – пробрались они на Валаам, – об этом в книге ничего не сообщается.

(Далее следует: „Все перечисленные версии" и т. д.)

Вставка к стр. 39, после верхних четырех строк, перед знаком * *
*

Официальной датой начала функционирования Соловецкого концлагеря указывается 1923 г., но фактически им был 1922-й. Именно тогда, в июне или в июле, приехали на Соловки чины ОГПУ принимать острова и все монастырское имущество и здания от „совхоза Наркомзема" (по Клингеру) или от наркомюстовцев, занимавшихся финансовым и хозяйственным устройством „нового порядка на острове" (В.В.М., стр. 13). Вслед за ними в августе приехала комиссия Главмузея.

Белбалтлаг официально тоже открыт лишь в сентябре 1931 г., а на самом деле – с зимы 1930–31 гг., когда в районе его работ десятки тысяч заключенных уже начали лесоочистку (в местах за-

топления, в частности на островах по Выгозеру) с попутными заготовками леса для экспорта по договору с Желлесом. Уже в мае 1931 г. на станциях Мурманской железной дороги вовсю орали пропагандные плакаты и лозунги, среди которых запомнил и такой: „По берегам великого канала построим новые стальные города!". Так что пояснение Солженицына о ББК полностью применимо и к Соловкам: „... плюс несколько тухтяных месяцев оргпериода, нигде не записанных" („Архипелаг", том 2-й, стр. 87).

Добавление на стр. 40, после слов „... проект захирел":

Даже на Севере в 1918 году офицеры-монархисты Чаплина (Томпсона) устроили тюрьму-каторгу для большевиков и уголовников за Архангельском в дельте Северной Двины „на мрачном большом острове Мутюг" (Мудьюг) и вторую – для большевиков и ненадежных солдат – уже при ген. Миллере на Кольском полуострове, наподобие концлагеря, на пустынной реке Иохонга. „За короткое время туда отправили 1200 человек. Бывший начальник (одной из) нерчинских каторг Судаков, безусловно ненормальный, управлял этой тюрьмой" (Е. Соколов, в журнале „Архив русской революции" том 9, стр. 82–83). Соколов подробно описывает обстановку на Иохонге и смертный бой, учинявшийся над Судаковым после подъема там красного флага и на этапном пути до пловучей тюрьмы в Мурманске. Обхожу события, при которых вместо эвакуации с ген. Миллером Соколов был снят с ледокола и оказался соузником Судакова и добычей ЧК...

Заменить сноску на стр. 47 уточненным текстом:

* Переименован „в честь" члена коллегии ОГПУ самый большой монастырский пароход „Вера", под новым названием которого летописцы будто бы разобрали его старое: Ширяев – „Св. Савватий" (стр. 117), Клингер – „Жижгин" (стр. 134), а Никонов – „Архистратиг Михаил ' (стр. 227). История покупки и перестройки „Веры" изложена в иронических тонах в книжке Протопопова.

На пароходе „Архангел Михаил" в 1918 г. английские войска спустились по Белому морю на юг Онежской губы и заняли Онегу (см. стр. 309 „Морской истории России за 1848–1948 гг." М. Митчела, на англ. языке). Этот пароход потом назвали „Нева". Олехнович пишет (стр. 58), что „Нева" в 1931 или 1932 году по пути из Архангельска на Соловки пошла ко дну со всей командой, причины гибели так и не были установлены. А третий принадлежавший обители пароход „Соловецкий" – переименовали в „Новые Соловки".

Вставка к стр. 49, между 3 и 4 абзацами (между словами „...наоборот" и „Мальсагов..."):

Это мое краткое пояснение подтверждается в „Новом Журнале" (стр. 157):

„Принимая партию, ее делили на группы:

1) Провинившихся чекистов и бывших коммунистов;

2) Сотрудников ГПУ, т. е. доносчиков;

3) Комсостав и солдат ЧОНа. Из них, помещенных в особую роту (девятую. – М. Р.) в дальнейшем набирали смотрителей (надзирателей) и начальников производств, из которых, в основном, состояла и охрана всех островов и скитов" (т. е. командировок, пунктов или рот, они же конвоировали партии заключенных на лесных, торфяных, дорожных и иных работах. – М. Р.).

Сноска на стр. 54 (к первой фразе последнего абзаца):

* Этот Головкин будет встречаться и дальше. Из сборника „Че-Ка" (стр. 154) следует, что некто Нежданов, эсер, арестант Московской ЧК в 1920–21 гг., знал его как одного из двоих помощников коменданта на Лубянке-II – „филиале" Лубянки-2: „Головкин из бесцветных чекистов, но более груб, чем другой помощник, и чаще впадает в транс ругательств. Он – коммунист послереволюционной формации".

Вставка к стр. 62, после 13-й строки сверху:

О самой этой комиссии в Кеми летописцы, видимо, знали мало. Но вот о плодах ее деятельности кое-что нашлось у Ясевич в „Памяти", выпуск 1 (стр. 134–140) и у Н. П. Анциферова в „Памяти", выпуск 4 (стр. 72–84).

Сначала представим Курилко по „Архипелагу" (стр. 31):

„... А Курилко, не прогремевший в гражданской войне, но сейчас вот этим историческим приемом (о „власти здесь соловецкой, а не советской"; сюда, мол, вас не для исправления... – М. Р.) вписывая свое имя в летопись всей России, еще взводится от каждого своего удачного выкрика и оборота..."

Да припомним и встречу Никонова с Курилко (стр. 60). Повторю:

„... Из барака вышел рослый человек в военном обмундировании и с места обдал нас потоком грязной брани. Это и был Курилко, человек крикливый, с жестким и нервным тиком лица. – Что вы их сюда привели? – орал он на конвоиров, гримасничая, будто от острой боли. – Промуштровать их, да хорошенько!..".

Теперь послушаем, как много позже вспоминают о Курилко учительница Ясевич и Н. П., слушатель религиозно-философского кружка, оба ленинградцы, в августе 1929 г. доставленные в Кемперпункт:

„... Абрашу (о нем вслед за Курилко. – М. Р.) сменил верзила со скобелевской бородой, „гроза урок" Курилко, унтер царской армии. Он построил нас в шеренгу и зычно закричал: „По порядку номеров рассчитайся!".

В этапе было человек сорок. Последовало приветствие: „Здравствуй, 8-я рота! Отвечайте коротко „здра!"... Не слышу, мать вашу! Чтобы в Соловках..." – (словом, в том же духе, как обучали по всем северным лагерям. – М. Р.). Еще с полгода после того „вписывал он свое имя в летопись России" – и вот брошен в лагерную тюрьму, в соседнюю камеру с больным летописцем Н. П.:

„Тиф обошел меня, – пишет Н. П. – Через несколько дней меня повели в Кемь. Со мной вели Курилко. Открывались окна домов, и вслед нам кричали: „Здра!". Итак, я сообщник Курилко (по доносу одноэтапника Круга за фразу ему о „власти соловецкой" при заполнении анкеты. – М. Р.)... Вскоре из Кеми всех следственных перевели в Вегеракшу, в барак, набитый людьми, и мы увидели, что выводы на расстрел не кончены. Поздним вечером из нашей толпы вырывались новые жертвы. Уже стало известно, что Курилко и Белозеров (другой ротный. – М. Р.) расстреляны на Секирной горе. Говорили, что Курилко кричал: „За что? Я же только следовал директивам!" и что Белозеров сказал театрально: „Не завязывать глаз. Хочу умереть как гвардейский офицер и как чекист".

Отправленный вскоре на остров, Н. П. добавляет: „Утром особенно торжественно выстроили (в кремле, весной 1930 г. – М. Р.) всех заключенных и громогласно прочли приказ о расстрелах. Читали очень долго. Сообщение о казни Курилко было встречено возгласами одобрения. Вот что значит – молва".

А теперь вернемся к Абраше Шрейдеру. „Чин" его в Кемперпункте остается нам неизвестен, – очевидно, либо старший нарядчик, либо заведующий учетно-распределительным бюро. Никто из летописцев 1928–1930 годов о нем не вспоминает, кроме Н. П. и Ясевич. Дадим слово сначала Н. П.

„... В конце Попова острова мачта. Нас встретил короткий субъект, напоминающий антисемитскую карикатуру из черносотенного журнала. Мелкокурчавый, рыжий, с оттопыренными ушами, вывороченными губами, над которыми нависал мясистый нос. Это был Абраша Шрейдер. В руках его список этапа и палка „дрын". Он начал командовать: „По вызову брать вещи и бежать к мачте. Живо!"

Первый заключенный со своим мешком поплелся к мачте. Абраша наскочил на него с матерной бранью и ударил дрыном. У последующих прибавилось прыти. Я еле плелся. Но охота пускать в дело дрын скоро прошла. Вслед за перекличкой нас отвели на ровное место, и Шрейдер произнес „приветственное слово" (пересыпанное матерщиной. – М. Р.). Кто-то из „урок" улыбнулся. Как коршун, налетел на него Абраша и начал избивать..."

Эту же картину и ее продолжение в те же часы видели ожидавшие неподалеку своей очереди женщины. О. И. Ясевич так описывает ее:

„Мы сидели окаменевшие, потрясенные унизительным зрелищем, к которому мы совсем не были подготовлены всем предшествующим обращением с нами в тюрьме и этапе. Так вот он – лагерь?!

– Бахтин! – кричит командир.

– Всеволод Владимирович, – раздельно и отчетливо прозвучал хорошо знакомый голос (историка-медиевиста. М. Р.), и, подняв свой чемодан, Бахтин не спеша прошел в правую половину загона.

– Я знала, что наши не побегут, – с облегченным вздохом сказала Верочка Г. (Герман, преподавательница русского языка). „И что их не посмеют ударить", – подумала я.

...Мимо меня вдоль проволоки взад и вперед ходил рослый молодой часовой с суровым лицом. Каждый раз, поравнявшись со мной /.../ бормотал себе под нос: „Не надо плакать. Здесь не так плохо, как кажется с первого раза /.../ Не надо плакать".

Перекличка мужчин кончилась, и их увели куда-то. Арена опустела. Один из командиров – рыжий и плотный молодой человек с оттопыренными красными ушами и серыми навыкате глазами, вытирая лоб носовым платком, /.../ подошел к проволоке и почти галантно, совсем не тем голосом, каким он (вот этот самый Абраша, – узнали уже его? – М. Р.) только что выкрикивал матерные ругательства, поздоровался с нами и стал расспрашивать, откуда мы, по какой статье и т. д.

– Ну, конечно, по 58-й!.. Я сам по 58-й, москвич и постоянно получаю посылки от родителей".

Затем Ясевич подробно передает „оправдательные" объяснения Шрейдера, почему тут в лагере, особенно в пересылке, такое обращение. Поступай он иначе, сам угодил бы в штрафную роту. Такое двойственное отношение Ясевич дальше подтверждает другими примерами: „торопливо и сурово" медицинская комиссия установила ей вторую категорию трудоспособности за „миокардит и артериосклероз, избавлявшую от тяжелых работ" (или дающую на них 25-процентную скидку с нормы. – М. Р.); как для обыска появилась молодежь в чекистских формах с военной выправкой и светскими манерами.

„... Когда подошла моя очередь и я раскрыла чемодан, один из них, не глядя в него, а только для вида тыкая рукой в одну и ту же стопку белья, стал торопливо расспрашивать меня: – Откуда? Я тоже ленинградец. Ну, разумеется, по 58-й... Закрывайте чемодан, – резко оборвал он себя и сурово крикнул: – Следующая!"; как при „личном обыске командирша обходила очередь, предупреждая тихонько: – Если у вас есть деньги, немного спрячьте. На руках разрешают оставлять не больше 3-4 рублей". Но ей оставили 6, а записали, что три, сверх четырех, спрятанных в шляпу.

Да они все тут, как авгуры, – подумала Ясевич, – все втирают очки друг другу и сами же смеются над этим.

/.../ Не помню теперь, как прошла наша перекличка. Могу только поручиться, что нас никто не бил и не ругал неприличными словами. По-видимому, здесь для „шпаны" и для интеллигенции применялись разные методы обращения".

Отлично описана ею отправка на остров, когда одновременно с женщинами грузили на пароход цинготников с командировок

УСЛОНа на материке. Санитары взваливали их на плечи как мешки с мукой и опускали в трюм, по соседству с четырьмя волами... Цинготники совершенно беспомощны, не в силах даже отодвинуться от грязи, которую накапливают около них волы. „Мы испуганно озираемся и жмемся...".

„К вечеру мы подъезжаели к Соловкам... и через 12 лет снова увидела этот сказочно красивый остров. Но – Боже мой! – как он изменился!.. Ни одного купола, ни одного креста... серый колорит, как заброшенные руины средневековой крепости".*

* *
*

Теперь вернемся к Н. П., может быть, единственному соловчанину, кое-что вспомнившему о разгроме соловецких „порядков" весною 1930 г. Хотя он и привезен в Кемь вместе с Ясевич в августе 1929 г., но „застрял" там до весны, будучи назначен секретарем Дорстройотдела УСЛОНа.

Вместе с десятками других лагерных начальников мелкого и среднего ранга из заключенных каэров, бытовиков и крупных уголовников из Управления СЛОНа, из Кемперпункта, Морсплава, Вегеракши и дорожных и лесных командировок – Московской комиссией был арестован и этот летописец – Н. П. По его словам, причиной к тому послужил донос одноэтапника, молодого красивого летчика из партийных, по фамилии Круг. При заполнении его анкеты, Н. П. (к месту ли, нет ли – не знаем) будто бы издевался над Кругом и сказал угрожающую фразу о „соловецкой власти". А Круг этот, тоже удержавшийся в Кеми, хотя и с десяткой и шестым пунктом (шпионаж) –

„сошелся с одной из моих одноделиц, Лишкиной, красивой девушкой, которая, бывая в командировке из Попова острова в Кеми, заходила ко мне (на квартиру в городе, о чем дальше. – М. Р.). По лагерным понятиям у меня с нею был роман. Меня нужно устранить".

Вот такова подоплека доноса. Следователь Трофимов предложил Н. П. „сознаться в участии в каэровской организации и тем

---

* Теперь – в 1986 году – православные кресты на куполах кремлевских церквей и соборов восстановлены, кроме колокольни, на которой все еще маячит звезда. Даже одну монашескую келью показывают с иконой, лампадой и всей обстановкой. Еще бы туда монахов, и загребала бы власть деньги с туристов лопатой. А на памятнике погибшим юнгам много не заработаешь. Таких тысячи по стране натыканы.

облегчить свою участь... Итак, мне осталось еще несколько дней жизни". Напугали его, видно, до смерти, и этот страх еще не раз взрывается то тут, то там в его воспоминаниях. Все же Н. П. остался жив, обвинение Круга как-то отпало, но взамен примазали участие во вредительстве в Дорстройотделе, за что, как много позже он узнал, ему „к трем годам добавили еще годик".

Как будто не резон отвлекаться от нашей основной темы, углубляясь в детали отдельных лагерных судеб, – но ведь из них-то и складывается картина лагерного быта. Не похвальбы ради добавлю, что в „Завоевателях белых пятен", в большой главе „Вот где собака зарыта" (правда, не про СЛОН тех лет, а про Ухтпечлаг ежовского периода), я, будучи, кажется, единственным, кто получил там доступ к нашему следственному материалу, описал по документам, как, почему и кем стряпаются лагерные „дела" из делишек.

Ну, а теперь вернемся немного назад, к тому, что же узнал Н. П. про дела Московской комиссии на материке. Мало, а именно – вот что:

„От уголовников меня перевели в камеру лагерников, где сидели торговцы универмага (УСЛОНа, в Кеми), обвиненные в краже продуктов. Один из них – отец баса Мариинской оперы Фрейдкова. На другой день, когда ввели двух работников ИСО (это ГПУ в лагерях), торговцы встретили их пением:

Тех, кто наградил нас Соловками,
Просим, приезжайте сюда сами...

Смех и обмен грубыми шутками. Вновь прибывшие были: работник ИСО Иваницкий и староста лагеря Попов остров – Брайнин. От них мы узнали, что арестованы Мисюревич (начальник экономического отдела УСЛОНа, „гордый, красивый поляк", осенью 1929 г. назначивший Н. П. секретарем Дорстройотдела), Левит (кто он такой, неизвестно. М. Р.) и новый начальник Дорстройотдела Мариенгоф. В соседней камере с Курилко сидели Абраша Шрейдер и еще один командир роты, белогвардейский офицер Белозеров. А с ними сидел еще один ротный командир – грузин Мисурадзе. Арестованные имели жалкий вид, в особенности – Абраша, лишенный своего дрына, превратившийся в подобие ощипанного цыпленка... Арестованные начальники утешали себя тем, что они только грабили новые этапы и били только дрынами. И рассказывали страшные вести об истязаниях на Соловках („жердочками", „боронами", решетками, комарами. – М. Р.). „Что же перед этими преступлениями наши проделки; если нас расстреливать, то что же делать с теми?!"

Вызвали Брайнина на допрос. Он метался по камере, хватаясь за голову, и бормотал: „Ведь я же расстрелял больше людей, чем у меня волос на голове!" ...Во время прогулок он шептал мне: „Товарищ, будьте осторожны с Иваницким: этот человек по колено в крови". Приблизительно то же го-

ворил мне о Брайнине Иваницкий. Но вернувшись в камеру, оба они дружелюбно барахтались на нарах как старые друзья.

Иваницкий рассказал нам о „Соловецком деле", закончившемся осенью (1929 г.) расстрелами. Он сам расстрелял Сиверса – коменданта Соловков, очень популярного среди заключенных, и с большим уважением говорил о его мужественной смерти. С отцом Сиверса я после встречался в Москве и передал ему эти слова Иваницкого.

...Мучительно тянулись дни. С жадностью ловились „параши", а они становились все страшнее и страшнее. /.../ Поздний вечер. Начались вызовы на расстрелы. Из соседней камеры увели Курилко и Белозерова. Рядом со мной лежал в ужасе Брайнин, а с другого моего бока бился в лихорадке Иваницкий; когда наступила тишина, он сказал: „Я весь покрылся потом". Не утаю, что и меня трясла лихорадка".

На очередном допросе следователь Трофимов сменил обвинение Н. П. „на помощь во вредительстве своему новому начальнику Мариенгофу, красивому еще молодому человеку с большими синими глазами и черной бородкой мушкетера. Его, как говорили, спас инж. Сосницкий... присланный из Москвы заместителем нач. УСЛОНа организовать трест (по добыче) апатитов, о работе которого он дал такой отзыв: „Дешево, быстро, прочно".

Мариенгофа Н. П. встретил много спустя, лет через 10-15, на Гоголевском бульваре в Москве и от него узнал, что их таскали на следствие из-за показаний Тележинского, начальника подотдела дорожного строительства.

После всех этих фактов, следующих из воспоминаний Н. П., можно было ожидать многочисленных расстрелов. Но Н. П. многих арестованных и вырываемых ночью на расстрел не знал и называет среди таких лишь Курилко, Белозерова, Мисюревича и Левита. А что же стало с теми однокамерниками, о которых так много говорил нам Н. П.? Слушайте:

„И вот (еще в Кеми. – М. Р.) пришли с объявлением приговоров по всему делу. Иваницкому – изолятор, Брайнину и Абраше Шрейдеру увеличили срок наказания. Я в этом приговоре не упомянут... Меня перебросили на Соловки",

– и там много позже он узнал, что и ему прибавили еще год лагерей.

Историку все же предстоит отыскать тот приговор коллегии ОГПУ, который зачитывался нам на всех пунктах Соловецких лагерей, и установить по нему, по какой статье или каким статьям сидели в концлагере осужденные приказом, какие должности занимали и за что конкретно получили пулю или „довесок" к сроку.

Добавление к стр. 63, ко второму абзацу, после слов: „...Олехнович – на 96, 97":

Однако соловчанин в „Новом Журнале" (стр. 156) передает, будто лодочниками были вольные поморы, и только раз „для экономии" их заменили сосланными чекистами, которые едва не погибли в пути. Вернулись к вольным поморам. Можно допустить, что среди команды лодочников находились один, много – два вольных, но никак не сплошь вольные.

Добавление после второго (набранного петитом) абзаца на стр. 71:

Да так оно и есть. В „Письмах..." на стр. 164 читаем:

„В связи с попыткой самосожжения анархистов в Пертоминске 22 марта 1923 г. из Архангельска прибыла комиссия в составе *помощника начальника Северных лагерей Ногтева,* прокурора Архангельской губернии и представителя губисполкома". Из тех же „Писем..." (стр. 170) узнаем, что „Ногтев в Пертоминске хвастался тем, что сам подписал смертный приговор своему брату... Здесь на Соловках в августе 1923 г. он застрелил одного вольнонаемного и двух монахов, и это событие породило в лагере слухи о вымогательстве и темных делах с конфискацией церковного имущества".

Между тем, соловчанин в „Новом Журнале" называет все время начальником УСЛОНа только Эйхманса и ни разу – Ногтева, всем известного и памятного всем летописцам как „царя и бога" над соловчанами. Жил он с женой вначале в кремле.

Сноска к стр. 71, к первому абзацу после звездочек, который кончается словами: „... своими расправами с повстанцами":

* В книге „Ответный удар" о казахстанских чекистах (стр. 11) упоминается В. В. Бокша как уполномоченный Омской губчека до июля 1920 года, а затем как начальник Атбасарского (около Ишима) „политбюро", тогда выполнявшего функции ЧК.

Вставка к стр. 77, после первого абзаца:

В той же команде надзора отличался зверствами латыш Сукис. Клингер (стр. 187) рассказывает об избиении Сукисом заболевшего агронома немца Грюнвальда. Немец все же достал справку от врача о следах побоев и кому-то сказал, что, возвратившись в Германию, опубликует ее и вообще раскроет правду о Соловках. Это дошло до ушей начальства. Немца погрузили на телегу и повезли на Секирку. Конвоировал тот же „Сукис-сын" и в пути, под предлогом побега, пристрелил его.

Даже социалисты вспомнили Сукиса в своих „Письмах..." (от лета 1924 г., стр. 190):

„Помощник командира 1-го (кремлевского) отделения Сукис, особо тупоумный латыш, – писали они, все расстрелы выполнял сам и хвастался своей „работой" перед заключенными и надзирателями".

(Дальше идет: „Можно продолжить „галерею" Клингера еще десятком менее знаменитых фамилий...".)

Сноска к стр. 79, к словам „Матрос 'Авроры'..." (пятая строка второго сверху абзаца):

* Среди многих фамилий матросов-авроровцев, перечисляемых в книге под таким названием А. С. Неволина (Воениздат, 1977 г.), Ногтева не оказалось.

Вставка к стр. 83, отдельным абзацем (петитом) между словами „... даже зимою (1924, 1925 г.)." и „Но вернемся к Зайцеву":

Все это несколько иными словами, более доходчиво, изложено соловчанином в „Новом Журнале" (стр. 160):

„Уже с начала 1924 г. всех непривилегированных заключенных, за неимением более свободных мест в кельях, начали размещать по церквам в кремле (где не было ни уборных, ни умывальников). Здесь условия жизни были самые невероятные. В 1925 г. там стали делать нары в два и три этажа, и все же мест на них для всех не хватало. В этих 11, 12 и 13-й рабочих ротах зачастую бывало более 200 человек в каждой. Кражи тут были постоянным явлением... Командиры рот и их помощники, в большинстве сами из уголовников... никогда никого (из своих. М. Р.) не выдавали'.

Вставка к стр. 84, между первым и вторым абзацами:

О нем же, о Драгуне, несколько иную версию находим в „Новом Журнале" (стр. 154, 155). Контрабандист Драгун с братом и тремя соловчанами скрылись с работы в лесу. Через день трое вернулись в кремль, а младшего Драгуна поймала охрана. Старший два месяца скрывался, подготавливая побег, но не учел погоды и прилива. Его с лодкой прибило к острову. Всех пятерых расстреляли осенью 1925 г. одновременно со старостой Кемперпункта Тельновым.

Вставка к стр. 91, после второго снизу абзаца (набранного петитом):

„К обеду всему лагерю – добавим из „Нового Журнала" (стр. 164) – выдавали большую тарелку супа и в изобилии кипяток. Суп был отвратительный – мясной редко, главным образом рыбный из соленой трески с 1-2 кусочками картофеля. Вечером, после семи, выдавали по 16 золотни-

ков гречневой или пшенной каши и опять кипяток... Работали в Соловках семь дней в неделю, по воскресеньям и праздникам",

– т. е. подтверждается сообщенное ранее Клингером.
(Дальше идет: „Генерал Зайцев..." и т. д.)

Вставка к стр. 99, после 4-го сверху абзаца (набранного петитом):
О столовой этой упомянуто и в „Новом Журнале" (стр. 168):

„В 1926 г. в кремле устроили столовую, в которой заключенные, за небольшую сравнительно плату, могли получать довольно сносный обед, ужин, а также чай, кофе и хлеб, но пользоваться всеми этими благами, за неимением денег, могли лишь немногие заключенные".

Автор забыл, видимо, подчеркнуть, что среди этих „немногих" тут чаще видели „проныр", о чем ясно и без зависти пояснили и Ширяев в „Неугасимой лампаде", и Розанов в „Завоевателях белых пятен".
О главном УСЛОНском ресторане в Кеми Солженицын пишет (стр. 52):

„Начальник Кемперпункта вахмистр, потом чекист Потемкин открыл там ресторан, оркестранты его были консерваторцы, официантки – в шелковых платьях. Приезжие товарищи из ГУЛага... могли здесь роскошно пировать в начале 30-х годов, к столу им подавала княгиня Шаховская, а счет – условный, копеек на тридцать...".

К этому художественному лагерному этюду хорошо бы добавить такую упущенную деталь, оброненную Н. П. в его воспоминаниях в сборнике „Память" № 4 (стр. 76):

„Много чудес было в концлагере 20-х годов! Одним из этих чудес был ресторан вблизи Управления лагеря. В нем бывали и приезжающие в Кемь из-за границы. Играл хороший оркестр из заключенных. В 1929 году им управлял наш одноделец музыкант Дружкин. Но самое удивительное, что этот ресторан могли (нелегально) посещать и заключенные. Я не помню ни одного случая, чтобы кто-нибудь был наказан за такую смелость. Официантки (тоже заключенные) подавали (нам) боржом или нарзан, но в этих невинных бутылках содержалась водка. Я даже мог заказывать Дружкину мои любимые вещи, например, попурри из „Пиковой дамы"...

Так и тянет напомнить – благо тут как раз это и к месту – мою „навязчивую идею" в „Завоевателях...", что режим – одно, люди – другое, что режим предписывается Москвой, а местная обстановка заставляет лагерное начальство в собственных интересах

обходить его. То, что было 50-60 лет назад, не грех вспомнить и сегодня для сравнений. И не утешаться тем, что в ссылку теперь часто доставляют самолетами, что в лагерях нет ни клопов, ни вшей, что у топчанов – шкафчики, что одеяло должно быть заправлено по инструкции, что перед плюгавым нарядчиком или вахтером снимай шапку, что в зоны запрещено вносить инструмент, что... Но... таких „но", которым позавидовали бы либо не поверили в нынешних лагерях, я мог бы привести десятки. А клопы, вши... да они тогда и в Москве не являлись диковинкой!

(Дальше – по тексту стр. 99: „Большим подспорьем...".)

Вставка к стр. 103, после верхнего абзаца, набранного петитом:

В „Новом Журнале" (стр. 161) о том же периоде 1925–1927 гг. – как бы уточняется сказанное Седерхольмом:

„После поверки во дворе или, в плохую погоду, в самой роте, составлялись партии и под конвоем отправлялись в лес и на другие работы. Хуже всего на тяжелых работах было то, что заключенным приходилось выходить почти совершенно раздетыми. Обмундирования у лагеря было далеко не достаточно, и счастливы были уже те, кто получал дырявую старую шинель и лапти; сапог, тоже изношенных, приходилось по 5-10 пар на сто человек... Я видел в октябре 1926 г. партию из одиннадцати человек, отправлявшуюся под конвоем из кремля на работу, из которых шесть человек шли в одних кальсонах, рубашках и лаптях, а было это при вьюге и 10-градусном морозе".

Добавление к стр. 107, в самый конец сноски о ценах (тоже петитом):

Дополним этот список ценами на другие товары в ларьках, приведенными соловчанином в „Новом Журнале": водка – 3 р. 50 к. бутылка, махорка – 96 коп., сахар – 65 коп. фунт, валенки – 7 руб., английская фланелевая рубашка – 4 руб. с лишком, в общем, все товары и продукты вдвое дороже государственных цен.

Добавление к стр. 113, к абзацу, начинающемуся: „1923 год. Борис Сапир называет...":

В „Письмах..." на стр. 167 сообщается: „Не считая социалистов, заключенных на Соловках в то время (июль 1923 г.) числилось 4 тысячи". Дальше, на стр. 168-й, другой социалист уточняет: „В 1923 г. больше 3 тысяч доставлено на Соловки", – следовательно, какое-то число их, видимо, содержалось на острове уже в зиму 1922–1923 гг.

Добавление к стр. 113, к абзацу, начинающемуся: „1927 г. Андреев в 'Посеве'...":

По „Новому Журналу" (стр. 152) число соловчан в октябре 1927 г. уже перевалило за 12 тысяч, но в это число входило свыше 3 тысяч работавших на материке – в лесу и на дорогах.

Добавление к стр. 114, после пятой строки сверху:

Профессор Андреев (Андриевский, похоронен на монастырском кладбище в Джорданвиле, США. – М. Р.), работавший в тот период в соловецкой санчасти, в журнале „Православный путь" (1951 г.), в статье о духовенстве на Соловках, сообщает, что на 18 тысяч заключенных на острове в декабре 1929 г. (т. е. после закрытия навигации) к концу января 1930 г. было до 5 тысяч больных тифом со смертностью от 20 до 30 процентов. Эти цифры с поправочным коэффициентом на тифозников и цинготников в феврале и марте, когда эпидемия и произвол еще давали себя знать, надо полагать и будут наиболее достоверными, близкими к истинным из всех приводимых для названного периода.

Добавление к стр. 114, после второго абзаца, кончающегося словами: „... около 12 тысяч арестантов":

Наиболее спорную численность живых и вымерших заключенных за 1928–29 и 1929–30 гг. приводит В.В.М., обосновывая свои данные тем, что в июне 1930 года он входил в „тройку" работников УРЧ, получившую приказ московской комиссии дать справку, сколько умерло с октября 1928 г. по июнь 1929 г. и с октября 1929 г. по июнь 1930 г. включительно. „Тройка" по строевым запискам насчитала для первого периода 24000 умерших и для второго – 15000 (стр. 18 и 19). Тут же В.В.М. подтверждает, что указанная Солженицыным численность соловчан на островах в 50-60 тысяч человек для 1929 и 1930 гг. „не преувеличена", но чтобы не запугать ею читателей, В.В.М. сразу же отсылает их к 15 миллионам заключенных в 1934 году, т. к. „рак расползался молниеносно".

Не стоит оспаривать эти две цифры умерших – 24 и 15 тысяч. Они могли сохраниться в памяти В.В.М. как услышанные им в УРЧ об умерших *по всему УСЛОНу:* на островах и на материке по всей Карелии (а не „Кореи", как дважды пишет В.В.М.). Тогда там, по всему УСЛОНу, числилось уже не 10-20 и даже не 50-60 тысяч, а в пределах от 90 до 120 тысяч заключенных. Кроме тифа, разила цинга, работа, произвол, общие условия – вообще „загибаловка", так что „потери в людском материале" в 20-25 процентов наличия за год (пополняемые с излишком новыми этапами) очень даже реальны. Но на Соловках этих цифр не было. Управление – вместе с УРО, где велась эта статистика, – было уже на материке, в Кеми. Вот там-то в 1931 году, задержавшись в УРО, и мог услы-

шать эти цифры наш летописец. Вряд ли Горький и знал про первую цифру в 24 тысячи, не пробыв на острове и 48 часов (а не 2-3 недели, как, доверяясь, видно, „парашам", пересказывает В.В.М.).

Московскую тройку на острове весной 1930 года „облобызал незримый старикашка-сторож в бушлате, – вышедший к ней в полной форме, с тремя ромбами в петлицах" (из тайных агентов ОГПУ, засылаемых в лагеря под видом заключенных, о чем толково и со знанием вопроса пишет В.В.М.). На его вопрос к „незримому" ромбоносцу, что тут секретного в УРЧ, последовал ответ: „Ничего и все. И когда тебя спросят, что тут делаешь, отвечай, что чинишь карандаши". С работающих в УРЧ–УРО, как правильно упомянул и В.В.М., ИСЧ–ИСО отбирают подписку о неразглашении. Там знают многое, о чем не положено знать другим заключенным.

На мой запрос, не мог ли бы В.В.М. сообщить мне, как эти 50–60 тысяч на островах распределялись по ротам в кремле и по пунктам за его стенами, – цифры ему, безусловно, должны были быть известны по месту работы, – ответа я не получил, как впрочем и на другие мои недоуменные вопросы, возникшие по прочтении его книжечки. Через полвека и у него многое испарилось или перепуталось в голове, и даже – верю! – при намерении честно и правдиво изложить прошлое, он невольно вписывает и такое, что только ахаешь. Будто, к примеру, есть Святое озеро, но нет Святых ворот в кремле, через которые веками входили богомольцы, а потом чекисты концлагеря выводили ночами на расстрел заключенных; будто никаких двух Заяцких островов нет, а есть один, связанный с Соловецким дамбой (путает с Муксоломским, где есть такая дамба). Простим ему и тут, и дальше по тем же причинам, по которым он сам прощает свидетелей Солженицына о Соловках, которые „слышали звон, да не знали, где он" (стр. 12).

Отметим также, что в „Памяти" (сб. 1-й, стр. 143) у соловчанки Ясевич в главе „Сыпняк" приводится такое пояснение о смертности:

„Машинистка санчасти (в кремле), печатавшая очередную сводку, вернулась в женбарак с сенсационным известием: из 126 тысяч соловецкого населения за один только последний месяц (какой же? – М. Р.) вымерло от сыпняка 14 тысяч!".

Это уже в несколько раз больше, чем 15 тысяч от всех болезней за 9 месяцев по В.В.М.! Правда, у него – только по островам, а у машинистки – включая материк.

Ясевич, вскоре переведенная с Соловков на Анзер заведовать женской вышивальной „кустаркой", приводит еще одну жут-

кую, но, видимо, для определенного периода близкую к истине цифру:

„В одной только Голгофской больнице из сыпнотифозного барака ежедневно в среднем выносили по 16 покойников. По склону Голгофской горы днем и ночью горели костры для оттаивания замерзшей почвы, так как вырытых за лето четырех траншей, на 300 трупов каждая, не хватило и до середины зимы".

Ясевич упустила пояснить, как это сделано Никоновым (на стр. 101), что „в 1928 и 1929 гг. на Анзер сплавляли со всех отделений УСЛОНа инвалидов... и „леопардов" проигравших с себя все. С Анзера они уже не возвращались..." Такой состав, конечно, вымирал сплошь и без задержки, даже без помощи тифа. У высшего начальства не было резона беспокоиться о нем: убыточный для лагеря живой двуногий инвентарь...

* *
*

В истории смертности на Соловках большой удельный вес приходится на обе тифозные эпидемии – 1926-27 и 1929-30 годов. О первой известно совсем мало, о второй кое-что находим у Солженицына (стр. 51), Никонова и Олехновича. Наиболее полное, достойное доверия и впечатляющее показание о ней оставила О. И. Ясевич в сборнике „Память" № 1, в главе „Сыпняк" (стр. 143–149), цифры из которой только что приводились. Чтобы не отвлекать читателя от основной темы – „чекистская борьба с тифом", – из главы отсеяны частности, впрочем тоже реальные и очень читабельные для склонных к занятному содержанию.

„... Сыпняк был в разгаре... И в лагере из Москвы был получен строгий приказ в кратчайший срок какими угодно мерами прекратить эпидемию. Из заключенных были образованы комиссии, чтобы обследовать санитарное состояние. На Анзере в нее (комиссию. – М. Р.) вошло несколько молодых озорниц – малокультурных и малочистоплотных, которые устроили себе развлечение из обследования голов своих товарок, в особенности соперниц, изрекая приговор: „Обрить наголо".

На Троицкой командировке, по рассказам, брили наголо все духовенство, молодых женщин посылали в баню для повсеместного бритья (пожилым и монашкам разрешили самим произвести над собой эту операцию). ...Затем началась массовая санобработка. Всех – молодых и старых – большими партиями загоняли на сутки в старую баню, чтобы за это время продезинфицировать их белье и платье... Я попала в такую санобработку в бане

во второй партии после целосуточного пребывания в ней восьмидесяти женщин, вынужденных пользоваться ею же как уборной...

Эта ночь вспоминается мне сейчас как полный кошмаров горячечный бред. В прокуренной парной и смрадной атмосфере донельзя загрязненного помещения в старой монастырской бане кишели женские тела, молодые и старые, при этом одинаково пестро растатуированные, как это принято в уголовной среде...

Чтобы скоротать время, затянули хоровые песни. Хоровод из голых женщин с хохотом и гиканьем кружился, а внутри его на грязном полу такие же голые женщины прыгали вприсядку, это был сущий шабаш ведьм, бесовское радение, Вальпургиева ночь... Вот две голые девушки запели куплеты о соловчанах „Машухе" и „Ванюхе", заканчивая каждый куплет припевом:

Э-эх, Ванюха!
Э-эх, Машуха!..
Месяц скрылся в облаках.
Крутим мы любовь с тобою
На далеких Соловках.

...Утром принесли в баню ведро какой-то баланды и ложки, но вид этого ведра был так неаппетитен, что я не пыталась протискиваться к нему...

В сумерки разрешили пользоваться водой и мыться. В это же время стали вносить узлы продезинфицированной одежды, и баня сразу наполнилась едким запахом серных испарений. Спеша и толкаясь, женщины торопливо одевались, чтобы скорей вырваться на свежий воздух...

Измученная и усталая до полусмерти, возвращалась я в свою „келью" – в комнату, где помещался наш вышивальный цех и где я тогда жила в качестве его заведующей.

Пока мы отсутствовали, комнату использовали как дезинфекционную камеру... Однако двигаться больше было некуда, да и меня так тянуло в постель, что я превозмогла себя и вошла в удушливую едкую атмосферу комнаты. Вскоре мне стало плохо, и когда наша командирша зашла, чтобы узнать, как я себя чувствую, я с не свойственным мне раздражением наговорила ей много лишнего.

– Если нас специально хотели заразить сыпняком и впридачу наградить венерическими заболеваниями, – ничего удачнее этой „санобработки" нельзя было бы и придумать: запереть чуть не на сутки около сотни голых людей – вшивых и невшивых, заставить их сидеть на скамьях, где только что до них сидела сотня голых венеричек. Ведь вы знаете, что предыдущая партия, только что прибывшая из этапа, при медицинском осмотре дала 60 процентов венерических больных. Скамьи эти не только не помыли после них, но и нам не позволили это сделать – закрыли краны, чтобы мы „зря" воду не тратили, дескать, „помоетесь перед уходом", а к тому часу мы были такие усталые и измученные, что почти и не мылись, торопясь на чистый воздух. А пол!.. Загаженный, заплеванный, весь в окурках и кое в чем еще похуже: а мы голыми ногами ходили по всей этой грязи и к чужой грязи... прибавляли свою... Ни разу еще на себе вшей не находила, ну, а после такой „санобработки" – не поручусь, ведь там на нас вши с потолка падали.

– Если хотите, я передам ваши слова начальнику, – сказала командирша, – только ведь я заранее знаю, что он скажет: „Вот подумаешь, барыня нашлась, брезгует простым народом. А сама-то она что за 'фря'?" Вот что он скажет...

– Да поймите же, что я не о себе хлопочу... Вот увидите, эта „санобработка" даст лишь новую вспышку эпидемии.

Командирша ушла, а я впала в тяжелое забытье. Очнувшись, я увидела над собой крупную фигуру голгофского главврача, начальника, командиршу и „начальницу"... Главврач сказал:

– ... Здесь и со здоровым-то сердцем задохнешься! А на завтра я дам ей бюллетень – и пусть с утра идет на воздух. Слышите, завтра, как встанете, идите погулять и будьте на воздухе возможно дольше.

– Я переведу ее в свою комнату, – сказала командирша".

И Ясевич в самом деле с утра и до ночи бродила по зимнему Анзеру, потому что заблудилась, – и про то подробно рассказала на следующих страницах сборника „Память" (выпуск 1-й).

(Дальше – по тексту на стр. 114: „1931 год. Розанов..." и т. д.)

Вставка к стр. 115, после первого абзаца, набранного петитом, т. е. после слов „... и начальнические должности":

О том же периоде вот что узнаем из „Нового Журнала" (стр. 169–170):

„Лазарет всегда был переполнен; преимущественно болели цингой в очень тяжелой форме. Смертность была ужасная, и чтобы скрыть ее, хоронили только по ночам на кладбище, где для этой цели летом рыли неглубокие канавы десятками сажен длиной, и в них, конечно, без гробов и одеяний, в несколько рядов зарывали умерших и расстрелянных... Трудно проверить слухи, доходившие из лазарета, но, по словам медицинского персонала, смертность достигала двадцати процентов всего количества заключенных".

(Дальше по тексту: „Ширяев считает..." и т. д.)

Замена на стр. 121 последних двух фраз (шести строчек) второго абзаца следующим расширенным текстом:

Имя ему – Секирка – переделано самими соловчанами из названия Секирной горы (80 метров высотою), на вершине которой – монастырский двухъярусный храм; в первом ярусе с престолом во имя архистратига Михаила, а во втором в честь Вознесения Господня с маяком на колокольне, и небольшой скит. Этот храм и превратился в штрафной изолятор, а скит занял надзор с канцелярией и каптеркой.

„Письма..." (стр. 189) подтверждают, что „в конце 1923 г. церковь на Секирке переделали в спецтюрьму... Туда отправляли связанными. Добровольно на Секирку никто не шел. Выдавали там

раз в день горячую пищу, дважды – горячую воду и фунт хлеба. И ничего больше. От таких тяжелых условий там через два или три месяца разразилась эпидемия самоубийств, и многих оттуда отправляли в лазарет со вспоротыми ножом животами".

Такая форма протеста против режима держалась долгие годы среди уголовного элемента концлагерей. Обычно нанесенные себе с умом порезы заживали через 2-4 недели, и „саморез" возвращался в изолятор.

(Дальше – по тексту стр. 121: „Секирка – это венец..." и т. д.)

Дополнение к стр. 124, после верхних четырех строчек (после слов: „... едва ли сыщешь"):

Все же сыскал смельчака, соловчанина 1927–1929 гг., к тому же грузина и медработника. Вот что он ответил мне: „На Секирке ни одного грузина не было. Все 45 грузин на Соловках после голодовки работали по специальности или совсем не работали. Умер только один из них – Куракозашвили, похоронен на кладбище возле кремля, на могиле есть надпись. Все остальные грузины, окончив срок, получали ссылку. Двух последних, назначенных в Сибирь, я в Соловках провожал сам". Однако поскольку речь идет о грузинах-меньшевиках, содержавшихся на острове с 1924 года, возможно, что кто-то из них, протестуя, испытал и Секирку, но задолго до Киселева и моего соловчанина-медика. До первого дошли слухи, и он опытной рукой „подновил и усилил" их, а до второго – нет.

(Дальше – по тексту: „Но вывод из его примеров..." и т. д.)

Дополнение к стр. 133, после верхнего абзаца (кончающегося словами: „... работали секирчане"):

А пока послушаем, как рассказано про Секирку первых лет в „Новом Журнале" (стр. 172):

„На Секирку ссылались все неисправимые заключенные и контингент ее состоял исключительно из уголовных преступников. Режим был строже, чем в кремле, и кормили заключенных отвратительно: большинство сидело на хлебе и имело лишь нижнее белье. Несмотря на голод и холод, угрозы, битье и расстрелы, эта категория заключенных была, действительно, неисправима, там процветала карточная игра и разврат, не поддающийся описанию. Проигрывать, кроме хлеба, было нечего, красть также, и поэтому на карты ставились суставы пальцев, уши, умышленное ранение своего тела, а был случай, когда игравший обязался прыгнуть при проигрыше с высоты второго этажа в отхожее место, что он и исполнил, и откуда был лишь с большим трудом извлечен. Все это мне лично рассказывал начальник охраны, человек, которому у меня нет оснований не верить и который знал этот преступный мир по своей прошлой деятельности".

Ну, я не столь доверчив к словам охранников, особенно их начальников, и не стал бы, к примеру, спрашивать конвойных в „стольшинских" или в пешем этапе, кого, мол, товарищи бойцы, „ласкаете" прикладами. Знаю их ответ. А генерал Зайцев, офицер Клингер, художник Рогов, полковник Гзель, „утешительный поп", сектанты, о которых уже рассказано раньше, — это кто: уголовники? неисправимые? А те, кто кровью писал на экспортных бревнах и досках, ожидавшие расстрела на Секирке, — тоже неисправимые развратники? А полураздетые „леопарды", рассудившие, что в лесу скорее „сыграешь в ящик", чем на Секирке? Нет, я даже в „леопардов" и „саморезов" не брошу камень. Такая вот шпана, к тому же полубольная, изголодавшаяся, и преобладала на Секирке. До разврата ли ей? Заключаю так по личному опыту — почти полтора года содержался с ними в штрафном изоляторе на штрафных работах, только не на Секирке и в ежовщину.

Кстати поясню: нельзя со второго этажа (с усиленным режимом) прыгнуть в отхожее место. Этажи церквей были изолированы. Оправлялись внутри церкви в огромные „параши", стоявшие в алтарях. Вот в одной из них и мог очутиться тот игрок.

* *
*

Вообще-то говоря, вся обстановка на Секирке отнюдь не влекла к пикам и червям, но случались, возможно, кое-когда послабления, при которых у кого уж невтерпеж зудело, шли на риск в надежде вытянуть „четыре сбоку — ваших нет!". Самое разлюбезное время для игроков — этапы и пересылки. Так было, есть и будет! Даже в „Памяти" № 3 (стр. 545 547) один из группы первых послевоенных „террористов", закладывавших домодельную взрывчатку в полые бюсты усатого „корифея и отца", как бы в отместку за своих ликвидированных правоверных родителей, Ю. А. Гастев признается:

„... На серьезное хулиганство я никогда практически способен не был, а вот лагерным карточным играм... я учился даже очень прилежно... В этой „Индии" (в БУРе – в бараке усиленного режима. М. Р.) не играли день и ночь разве что клопы... Потом на Ухтинской пересылке... я со скуки проиграл... все с себя в штос, так что (к месту работы) прибыл в телогрейке на голое тело, что и было немедленно отмечено замом по режиму, почему-то с ходу меня не взлюбившим...".

Очень схожую картину подобного „перевоспитания' описывает малолетка Петр Якир в книге „Детство в тюрьме" (стр. 118–121):

„... В конце концов нижнетуринские жулики (в колонии на Урале) проиграли мне все... У меня собралось более 16 тысяч рублей, около ста костюмов, столько же сапог, подушек и куча разных мелочей... Около двух недель наша маленькая коммуна – Золотой Цыган, Мишка, Медведь – транжирили деньги... Но пришел и мой черед... На трехрублевом кашне меня и „удавили" – обыграли до нитки. Ну, как выиграно было, так и проиграно...".

* *
*

Подобных примеров, все же не характерных и для 50–70-х гг., в летописях соловчан двадцатых годов не нашлось, хотя студенческой молодежи из разных национально-освободительных и религиозно-философских кружков на острове содержалось немало. Думаю, что сами уголовные не сели бы с ними на одну нару „стосить" или „бурить" и такой случай посчитали бы неправдоподобным, недостойной доверия „парашей". Другие, повторяю, были времена, другая молодежь, другими были их родители, да и воздух был другой.

(Дальше: „О Секирке Кучьмы речь...")

Сноска на стр. 133 к фразе, кончающейся словами: „...из одной проруби в другую" (15-я строка сверху):

* В сборнике „Че-Ка" некий Нежданов (стр. 154) знал в 1920–1921 гг. этого латыша Вейса как коменданта Лубянки-II – „филиала" Лубянки-2, и так описывает его: „Лощеный, щеголеватый, лет тридцати, говорит – бывший студент Рижского политехникума. Большой формалист, но внешне корректный, в особенности с женщинами. Характерная черта его, как впрочем и администрации ВЧК, – ложь, постоянная ложь заключенным. Деятельный участник ночных экспедиций в „гараж расстрела", Вейс – „церемониймейстер" этих экспедиций". Такую обрисовку сохранил Вейс и в должности начальника кремлевского отделения в 1928 году, по описанию Н. Отрадина в „Новом русском слове", обратившегося к Вейсу с просьбой позволить ему и соработникам посетить пасхальную службу в Онуфриевской церкви.

Вставка к стр. 135, в середину пятого сверху (третьего снизу) абзаца, между фразой, кончающейся „...не найдено", и следующей, начинающейся „Но обстановка на Секирке...":

На 14-й странице „Моих воспоминаний" В.В.М., описывая обстановку осени 1929 г. – весны 1930 г. (тут он спутал разные причины осенних расстрелов и весенних пертурбаций, пристегнув к ним и Горького), добавляет: „Сударский, заведующий изолято-

ром, был арестован и, по одним *слухам,* повесился, по другим – его повесили в том же изоляторе", – не поясняя, в каком: кремлевском карцерном или Секирном. Если в Секирном, – значит, Сударский сменил Вейса, сохранив его „патриархальный порядок"...

Добавление на стр. 148, сразу после первого абзаца:

А уроки в лесу на дровозаготовках для лагеря, т. е. на собственные нужды, не бревен на экспорт, были такие (как сообщает соловчанин в „Новом Журнале", стр. 162–163):

„Группа из трех обязана была спилить, обсучить (обрубить сучья), распилить и сложить в один день одну кубическую сажень дров из поленьев в полтора аршина длиной, весом по 2-3 пуда каждое, иногда за несколько сот шагов от места работы, при дороге или у озера". (Такую норму выработки подтверждает и Клингер, а подтаску по глубокому снегу и укладку в штабеля – Ширяев. – М. Р.) „Часто бывали случаи, особенно поначалу, – продолжаем читать в „Новом Журнале" – что непривыкшие задерживались в лесу до позднего вечера, понукаемые охраной и десятниками, не имевшими права оставлять заключенных до окончания урока... неопытные новички возвращались настолько измученными, что, забыв голод, валились на нары или на пол промокшими и засыпали... Конечно, подобную работу переносили далеко не все. Слабые и не умевшие к ней приспособиться еще раньше месяца приходили в полную негодность и теряли последние силы. За взятку начальству деньгами, одеждой, посылкой можно было без труда избавиться вообще от всякой работы, но таких счастливчиков было, к сожалению, мало".

Подтверждение последних двух фраз находим и у Никонова, и у Зайцева, и у Клингера. Вот только для читателя остается туманным слово „понукаемые" (в лесу). Чем понукали, как: ласковым словом, матом, угрозой, кулаком, дрыном, прикладом? Или, по Киселеву, „примораживанием носа" к дереву? Видимо, всякое бывало, а чаще всего применялся дрын, и не редкостью было содержание в лесу сутками, видимо, с заменой охраны и десятника.

(Дальше – по тексту: „Некто Инжир..." и т. д.)

Вставка к стр. 153, после первого (набранного петитом) абзаца:

Еще более жуткие „уточнения" об этих „мешках" находим в „Новом Журнале" (стр. 170, 171):

„Каменные мешки" или „колодцы" были аршин 5-6 глубиной и около поларшина шириной в стенах, окружающих кремль. Отверстие колодца позволяло лишь спустить в него человека и видеть пятнышко света. В этих мешках томились бояре Грозного (Грозный умер, когда постройка кремлевских стен только-только началась. М. Р.) При большевиках наказание ограничивалось несколькими неделями. Хлеб и воду спускали заключен-

ным на веревке... Нечистоты не убирались и колодцы не вычищались. Всему этому трудно поверить, но это неопровержимые факты и на них есть тысячи свидетелей".

Ни один из летописцев, включая этого последнего, к их счастью, никогда не сидел в „колодцах" и даже, возможно, не побывал вблизи них. Больше того – они не встречали соузников, которые бы сами сидели и сами описали им эти „мешки". В „Письмах..." попалось упоминание о них: будто член комиссии ОГПУ Фельдман в 1924 или 1925 году, проверяя жалобы, приказал бросить тряпку в „мешок", и когда ее вытащили обратно, на ней было полно вшей. Фельдман запретил наказывать „мешками", но с его отъездом это наказание вскоре возобновилось.

Однако пора ставить точку и на этой теме. Послушали летописцев и дали слово „историку". Вернемся к Киселеву-Громову.

(Дальше – по тексту: „Послушаем теперь, что нашел на штрафной..." и т. д.)

Добавление на стр. 171, после слов „...не так-то просто ее достать" (перед „Приложением..."):

* *
*

Рассказано словно бы все главное об этом наиболее жутко-грозном фрагменте соловецкой панорамы. Во второе издание в главу о лесе должно будет войти и то немногое, что нашли о нем в „Новом Журнале". Можно бы и закончить эту главу, но не спросит ли читатель:

– Неужто так-таки безмолвно, покорно и отдавали здоровье и жизнь концлагерю тысячи заключенных, перебывавших в соловецком земном аду?

Ну, отвечу им, одиночки-то не гибли столь бесславно. Одиночки протестовали так, как выше описано: кто рубил себе руки, ноги, сознательно замерзал, иные прятались от разводов, просто отказывались идти в лес, ссылаясь на раздетость, разутость, болезни. Такими и заполнялись Секирка, Кондостров, Голгофа на Анзере (и лазареты до братских могильных рвов при них и за кремлем). И шли на эти одиночные протесты в основном уголовники, урки. А вот общего-то, массового протеста на лесных работах в двадцатых годах на Соловках не было. Ни один летописец не упоминает о таких событиях, даже безудержно-разухабистый пером чекист Киселев-Громов. И я не слыхал. Даже парашники не сочинили.

Не было, видно, такого на Соловках. А одиночные протесты любым из приведенных способов для Лубянки, Кремля и Старой площади опасности не представляли ни политической, ни экономической.

На материковых лесных и дорожных командировках УСЛОНа, то есть с 1926 или с 1927 года, возможно, местами и происходили общие протесты против тех или иных зверств или жутких условий быта и работы. О двух таких протестах рассказали Солженицыну, и они включены в „Архипелаг".

Да припомнил – как не припомнить подобное, по гроб не забудешь! – в своей „Правде о Советах" и наш летописец из Польши Олехнович, променявший кукушку на ястреба, описывая свое „боевое крещение" на лесной командировке в зиму 1927–28 гг. на Мяг-острове (в Онежской губе, вне соловецкого архипелага, но внутри материковых отделений УСЛОНа). Олехнович тогда только начал вдыхать советский чад и многое увиденное и испытанное им понимал поверхностно. Пусть сам будущий читатель подумает, как бы следовало Олехновичу описать то, о чем сейчас прочтете. Не хочу быть политическим цензором и привожу его рассказ дословно (в меру способности к переводу с польского, со стр. 51–54):

ЗАБАСТОВКА

Дни отдыха бывали каждое второе воскресенье. Однако и этот „воскресный отдых" не был полностью свободным. Мы тогда вывозили на берег моря снег из лагеря, чистили уборные и т. п. Все же такие работы куда легче лесных и при дружных усилиях заканчивались довольно рано.

Но вот пришло одно такое воскресенье, когда начальство погнало всех нас на работу в лес. Начался тихий ропот. Через две недели снова в три часа ночи нас разбудил колокол. Всех выстроили на поверку во дворе, что означало – опять не будет дня отдыха. По рядам пошел таинственный шепот, взглядами передавались какие-то знаки. Видно было по поведению этих качающихся при свете фонариков теней, что назрело важное решение.

Большинство заключенных на Мяг-острове составляли уголовники: бандиты, воры, аферисты, и едва четвертую часть – так называемые „казры", т. е. контрреволюционеры, крестьяне-„кулаки', зажиточные и интеллигенция.

Забастовка была решена уголовниками. Они не хотели считаться с каэрами. Их было большинство и с политическими они никогда не считались, называя их „фраерами".

Когда стали раздавать рабочий инструмент, по рядам прошел приглушенный шепот: „Не пойдем!" Никакие уговоры не помогли. Все заключенные отказались взять инструмент. Раздалась команда „направо!" и приказ идти в лес. Со зловещим ропотом заключенные тронулись по дороге. За

нами везли сани с пилами и топорами. Несколько вооруженных охранников замыкали шествие.

Через 2–3 километра нам приказали остановиться. С тревогой мы гадали, что нам готовят. Уже среди каэров начались тихие совещания: не стоит ли отказаться от сопротивления? Ведь каэры прекрасно понимали, что, если дело раздуют, вся ответственность ляжет на них: обвинят как подстрекателей и расстреляют, тогда как уголовников посчитают несознательной массой, подпавшей под влияние агитации контрреволюционеров.

Некоторые из политических предпочли бы пойти на работу, лишь бы не дать повод к репрессиям, но стыд за себя перед решительной позицией уголовников толкал их на общую с теми дорогу сопротивления.

Тут выступил старший десятник и громко заявил: „Кто пойдет на работу – берите инструмент и переходите направо, кто не хочет – отойдите налево и раздевайтесь!".

С опущенными головами, один за другим выходили из толпы каэры и брали топоры и пилы. С презрением смотрели на них исподлобья уголовники, снимая с себя и бросая на снег бушлаты, штаны, шапки и обувь, оставаясь только в исподнем.

Мы двинулись дальше в лес, а мерзнувшие фигуры воров и бандитов дрожали от стужи, посылая вслед уходящим „фраерам" отборную брань и проклятия.

Странная ирония судьбы, странная переоценка ценностей. Политические срывают забастовку и покорно идут на работу, а уголовники мужественно стоят на своем до последнего".

Дальше на целой странице Олехнович продолжает рассуждать, чем бы, мол, закончилось такое дело при царизме. Политические, говорит он, разобрали бы топоры и порубили охрану. Едва ли, возражу я. Во-первых, на царской каторге не было таких причин к протестам, а во-вторых, даже „цвет нации" – декабристы, сосланные в Сибирь, сами строили для себя каторжные бараки, есть даже зарисовки их на этой работе. А с „фраеров" и спросу нет, когда есть Лубянка и 3-й отдел – ИСО...

Возвращаясь от высоких мечтаний на землю, к этой вот забастовке, называемой в концлагерях долгие годы „групповым отказом", Олехнович заканчивает о ней так:

„... А тут руки рабов покорно берут топоры, чтобы выполнить в лесу свою норму. И через несколько дней этими же руками принимают двадцатикопеечную награду за выполненную в тот критический день работу – награду из кассы ГПУ".

* *
*

Вот когда и можно закончить жирной точкой главу о лесе. Уголовники и есть уголовники; шпана, урки и есть шпана и урки. Облагораживать их нечего, да они на это и не напрашиваются. У них своя „идеология", свои принципы, за которые они в двадцатые годы держались, как говорится, до последнего.

Не могу тут не напомнить тем, у кого из памяти выветрилось, что такие уважаемые летописцы, как И. Л. Солоневич, Б. Н. Ширяев, генерал И. М. Зайцев, агроном М. З. Никонов-Смородин, только что цитированный Олехнович, Д. Витковский и менее лицеприятный для правого и левого крыла всех наших трех — вынужденных или добровольных — эмигрантских волн за его две антологии о соловецких концлагерных летописях — М. М. Розанов, — жившие и работавшие бок о бок с этой ветвью человеческого древа, не проклинают уголовников и не воспитывают к ним ненависти у читателя, понимая... ну, не стоит распространяться, растекаясь мыслью по бумаге. Историки сами с усами, да попадаются и читатели, у которых они пробиваются... Подожду, что-то они мне напишут, — подозреваю, как Гоголю о „Мертвых душах": „... Да разве мы не русские? Да разве нам не больно читать об этом? А что скажут иностранцы?"

(Дальше — приложение: Доклад Молотова и т. п.)

Сноска на стр. 177 (вторая, после сноски о Баркове; относится к 26-й строке сверху на этой странице, к словам: „...члена коллегии Дерибаса"):

** Все, что приведено выше из „Неугасимой лампады" (стр. 139–142) о происхождении, внешности и характере Дерибаса, надо сразу же отнести к дружному творчеству соловецких парашников в лихой литературной обработке летописца. К потомкам одесских де Рибасов он не принадлежал. Физия, верно, чекистская, но не урода с Нотр-Дам. Рода казачьего, из села Онуфриевки, что на юго-запад от Кременчуга. Родился Терентий Дмитриевич в 1883 г., и с первых лет XX века на кулачках с царизмом, а с октября семнадцатого года — на чекистских верхах, сначала в Сибири, потом в Москве как заместитель и, наконец, начальник секретно-оперативного отдела ВЧК–ОГПУ, а с зимы 1928-29 года и до 1938 г. полномочный представитель ОГПУ–НКВД по Дальнему Востоку.

Это Дерибас как председатель тройки ПП ОГПУ в марте 1930 года утвердил мой приговор на полную „катушку" (10 лет), добавив к нему: „...с содержанием в Соловецком концлагере особого назначения, считая срок с момента приговора", т. е. без зачета четырех месяцев содержания

под следствием, а следователь в „подорожной" (формуляр для конвоя и концлагеря) приписал: „склонен к побегу".

Именем этого Дерибаса названы улицы, но не в Одессе, а в Сибири (в Павлодаре и Троицке), где он как начальник „политбюро" (тогдашнее ЧК) для большей безопасности и страха населения порасстрелял „способных к восстанию" офицеров, священников и богатеев.

В книжечке М. Писманика „Комиссар государственной безопасности" о „доблестных деяниях и белых перчатках на руках чекиста" автор объясняет расстрел Дерибаса (в 1939 году) „происками нового ответственного работника Маратова, неразоблаченного троцкиста и предателя Родины, бежавшего с секретными документами за границу, застрелив пограничника, но предварительно оклеветав Т. Д. Дерибаса". Этим придуманным „Маратовым", как давно уже известно, был Генрих Самуилович Люшков, бывший начальник секретно-политического отдела НКВД, назначенный Ежовым на место ликвидированного Дерибаса. Предчувствуя близкую о асность и для себя, Люшков бежал к японцам, снабдив их уймой ценнейших секретов Кремля и Лубянки; предварительно он отправил и жену за границу. Почему японская секретная полиция держала его в „золотой клетке", а в 1945 г., когда Япония потерпела поражение в войне, застрелила, – этому Писманик дает довольно правдо одобное объяснение.

А вот жене Дерибаса выпала другая путевка – в Ухтпечлаг. Там мне на нее указали пальцем в пересылке в затоне Ош-Курья, почти против Усть-Усы, где наш Лесной отдел Воркутпечлага летом 1940 года составлял свой – по лесу – десятилетний план к развертыванию Воркуты в „северный Донбасс". При бальзаковском возрасте в мадам Дерибас силы, здоровья и секса было еще ой-ой сколько! Тут она с другими супружницами „врагов народа" гоняла по зоне волейбол. В свой колымский „Крутой маршрут" Гинзбург не смогла бы ее втиснуть. Похоже – отлично помню этот эпизод! – это она в феврале или марте 1930 г. вытрясала на нас одеяло и простыню из своей квартиры на третьем этаже хабаровского КрайГПУ. А мы маньчжурцы и повстанцы – „кружили" по двору на прогулке под нацеленными со стен и забора винтовками, а кинооператор накручивал на ленту для Ягоды „со товарищи", чтобы взглянул, пока мы живые.

Похоронили обласканную хрущевцами всесоюзную персональную пенсионерку Нину Ивановну Дерибас на номенклатурном Новодевичьем кладбище в Москве в 1956 году. О детях скажут: они в правах и средствах есть ложками икру. Почитайте же книжечку М Писманика, вся и цена-то ей 15 копеек за 116 страниц. Издана в Ташкенте в 1981 году.

Дополнение на стр. 182 о Френкеле (перед тремя звездочками):

Ближе всех к правде оказался неизвестный летописец из „Нового Журнала" (стр. 160), ограничившийся тут одной фразой, уже приведенной в предисловии: „Еврей Френкель умудрился даже стать одним из помощников Эйхманса и главным заведующим хозяйством и всеми предприятиями островов". Кратко и неопровержимо... Нет подробностей – нечего их придумывать (не романы строчим!).

Тот же летописец передает чрезвычайно важный для истории большевизма и концлагерей факт – почти точную дату начала „метастаза": вывоз ссыльных с Соловецких островов рабами большевизма на материк, упустив упомянуть при этом Френкеля. Если Френкель даже не был „мозгом" и организатором многомиллионной промышленности на прямом принудительном труде, то, во всяком случае, одним из таких, – просто потому, что ему посчастливилось оказаться тем „истинным пророком, кого история уже с голодом ждала и зазывала" (Солженицын):

„СЛОН, – пишет соловчанин в „Новом Журнале" (стр. 150–151), – чтобы занять заключенных, стал заключать договоры с лесными трестами и Северной жел. дорогой на лесные и дорожные работы по определенной цене за человека. Первая такая партия из 800 человек, преимущественно уголовников, была отправлена на работы на материке летом 1925 г. Опыт был неудачный: начались побеги, невозможные условия жизни, кормили отвратительно, инструмент плохой, специалистов не было... Дальнейшие партии заключенных набирались уже главным образом из казаков (стр. 152). Насколько мне известно, случаев побега казаков никогда не наблюдалось. По мере развития работ на материке количество заключенных, отправленных на них в 1927 году, превысило 3000 человек, и нужно полагать, что подобная сдача в аренду заключенных приносила управлению лагерями немалый доход".

„Летом 1925 года" следует, по-моему, понимать как конец июня или начало июля. Даже концлагерю нужно время „на раскачку": дождаться навигации, оформить договоры, установить места работ, достать инструмент и многое другое. Наиболее полно, аргументированно, с фактами и цифрами эту торговлю рабами и доход от нее описал проф. Чернавин (на английском языке), рассказывая о работе соловецкого рыбпрома в 1931 и 1932 годах как для УСЛОНа, так и для мурманского рыбтреста, а также о многолетней практике „запродажи" заключенных специалистов различным хозяйственным и промышленным организациям Карелии.

* *
*

Похоронили Френкеля, генерал-лейтенанта МВД в отставке и на пенсии, не то в конце 50-х, не то в начале 60-х годов в Москве, вскоре после банкета по случаю его семидесятилетия. Пировали выжившие „соратники" по лагерям. „Вино текло рекой. Икру ели ложками".

Через несколько месяцев Френкель умер. От дома № 12 по Второму Обыденскому переулку под похоронную музыку военного

оркестра, с орденами и медалями на красных подушках, тело Френкеля довезли до кладбища быв. Донского монастыря, там всунули в крематорий и испепелили. О частной жизни Френкеля в отставке и его „затворничестве" есть интересная статья в „Континенте" № 23 (1980 г.) на стр. 255–262 Семена Чертока, навещавшего знакомого, породнившегося с Френкелем. Френкель, по словам Чертока, никого не впускал в свою комнату, кроме неофициальной жены, ни с кем из посетителей семьи не хотел встречаться даже в коридоре, не отвечал на телефонные звонки.

(Дальше – по тексту той же 182-й страницы, после звездочек, начиная со слов: „Не знаю, быть может, позже, в Белбалтлаге...".)

Сноска на стр. 193, к концу первого абзаца:

* Самиздатовский исторический сборник „Память" № 1 (1976–1978) вот что сообщает об этом на стр. 566, перечисляя все тюремные и лагерные печатные и стенные газеты:

„СТУКАЧ. Юмористический журнал (заключенных СЛОН). Кондостров (Соловки). Литограф. (выходил только осенью 1924)".

Там же, на стр. 562, среди девяти соловецких лагерных стенгазет, выпускавшихся в 1927 г., под № 91 значится:

„ТРУДОВОЙ КОНД (стенгазета заключенных СЛОН). Кондостров".

Вставка к стр. 197, после третьей строки сверху:

В „Новом Журнале" (стр. 151) лагерным стукачам тоже уделено внимание, и немалое:

„Шпионаж был везде поставлен очень хорошо, и ГПУ прилагало все усилия, (чтобы) заручиться наибольшим числом доносчиков из заключенных, что при небольших поблажках достигалось без всякого труда... Изголодавшиеся и раздетые люди зачастую без всякого принуждения сами предлагали ГПУ свои услуги. К стыду надо признать, что даже среди интеллигентных заключенных были сотни и сотни доносчиков-„стукачей"... по всей вероятности, раньше порядочных людей".

„Сотни и сотни" – это уже недалеко и до тысячи. При такой оценке пришлось бы признать, что каждый чуть ли не третий или четвертый интеллигент в кремле продался ИСО и пользовался его поблажками. Достаточно, мне думается, и одной сотни наушников на весь кремль, чтобы ИСО знало, чем там дышат. Да у страха-то глаза с колесо!

(Дальше: „Без стукачей...".)

Сноска к 3-й строке первого абзаца стр. 199 (к словам „...под какими-нибудь масками"):

* Об этих тайных информаторах Лубянки, засылаемых ею в лагеря, довольно правдиво, верно и убедительно пишет В.В.М. на страницах с 14-й по 18-ю включительно.

Замена двух строк (6-й и 7-й) второго абзаца на той же стр. 199 следующими словами:

председательствовал на процессе петербургского митрополита Вениамина, и П. А. Красиков, зам. наркома юстиции, выступавший обвинителем на том же процессе, и какие-то еще ромбоносцы (дальше – по тексту: „или по-лагерному – „шишкомоты". Обследуя..." и т. д.)

Добавление на стр. 202, между первым и вторым абзацами:

Для полноты обзора свидетельств летописцев о разгрузках приведем и то, которое дано в „Новом Журнале" (стр. 171):

„Каждый год из Москвы приезжала комиссия в составе 5-7 человек для ревизии и разгрузки лагерей. Возглавлял их постоянно Катаньян, председатель трибунала, и Фельдман – главный прокурор республики (занимаемые должности членов разгрузочной комиссии указаны в „Новом Журнале" неправильно: Фельдман – член коллегии ОГПУ, главным образом по юридическим вопросам, а Катаньян – прокурор „по надзору за деятельностью ОГПУ"; кроме того, вовсе не упомянут в „Новом Журнале" председатель этой комиссии – член коллегии ОГПУ и начальник его спецотдела Г. И. Бокий. – М. Р.). Комиссия главное внимание уделяла охоте (что подтверждают Зайцев, Никонов и Ясевич. М. Р.), а делами занималась исподволь, по вечерам. К их приезду изготовлялись списки на досрочное освобождение, куда заносилось до тысячи заключенных, но они утверждались далеко не полностью комиссией. В подавляющем большинстве освобождались уголовники, затем члены партии, чекисты и охранники. Всем им давали полную свободу жить где угодно. Количество освобождаемой до срока интеллигенции редко превышало двадцать человек на всю партию, и были это преимущественно старики и больные, неспособные к работе. Им досрочное освобождение заменяли вольной ссылкой с „минусом 6", то есть без права жить в шести главных городах страны и в пограничных губерниях".

* *
*

В списки для комиссии включалось несколько женщин, сохранявших физическую близость с заключенными или вольными, занимавшими в Соловках высокие должности. Они тоже получали сокращение срока или замену его ссылкой, конечно, как за „примерное поведение" или „отличную работу", а фактически – как расчет за эксплуатацию своего тела. Но конкретных примеров летописцы не приводят, кроме двух.

Первый – о начальнике Секирки Кучьме, таким способом оформившем супружество с бывшей женой донского офицера (Зайцев, стр. 115).

Другой – о помощнике Ногтева по административной части – „белобрысом орангутане и пьянице" чекисте Васькове – с миловидной девицей, вскоре взявшей его под свой башмак (в 1930 г. по Китчину, стр. 211), а в „медовый месяц" в конце 1925 г. на соловецкой пристани „обнимавшем свою молодую жену, укутанную в котиковую шубу" (Седерхольм, стр. 332).

Даже начальник Соловков и УСЛОНа Д. Успенский использовал такой путь, будучи до этого всего лишь вольным в военизированной охране или в воинской части Дегтярева (а не заключенным или работником КВЧ, как выходит по другим летописям), и взял в жены молоденькую Андрееву. Об этом третьем примере я узнал лишь в Америке от соловчанина 1929 года: его в 1932 или 1933 году на Беломорканале как строительного десятника эта Андреева-Успенская вызывала утеплять их квартиру в Медвежке.

(Дальше: „По утверждению Зайцева...".)

Сноска к третьему снизу абзацу на стр. 206 (к словам „...некоего Фушмана или Фухмана, начальника советских лесозаготовок"):

* Наконец-то „сыскался след Тарасов". „Начальником советских лесозаготовок" Фушман не был. Он тогда являлся заместителем народного комиссара лесной промышленности С. Лобова и в этом качестве мог помочь и положиться на Ногтева.

Сноска ко второму сверху абзацу на стр. 221 (к словам „за прелюбодеяния"):

* Вот этой „Секиркой" для монахов „за смертный грех любострастия", за чрезмерное „возлияние" и за иные нарушения устава обители и стал Голгофско-Распятский скит на Анзере. Кто, отбыв там „эпитимию", снова впадал в грех, – изгонялся с острова. Особо строг – да не только с такими – был архимандрит Варсонофий (1720–1740 гг.), затем не в меру жестокий в Архангельске, как архиепископ, даже с белым духовенством — выгонял его босиком на лед Северной Двины в пасхальную ночь. Почитайте укоризненное письмо к нему новгородского архиепископа в „Чтениях в Обществе истории и древностей"...

Это упоминание вызвано ссылкой в „Архипелаге" на стр. 50-й „на рукопись XVIII века в Гос. Публичной библиотеке „Соловецкий патерик", по которой Богоматерь явилась иеромонаху Иову в июне 1712 года и сказала, что „гора эта и скит убелится страданиями неисчислимыми". Зачем бы, казалось, Заступнице усердной, Царице Небесной понадобилась вторая Голгофа (для монахов сначала, потом для жертв большевизма)? В том же самом

„Соловецком патерике", напечатанном в 1873 году издательством преподобного Сергия Радонежского, приводятся совсем иные слова Пресвятой Девы: „... И соберется тут к тебе множество монахов и прославится Имя Божие. Я сама буду посещать гору и пребуду с вами навеки...". Пора бы нашим архипастырям проверить и объявить, какой из этих двух противоречивых текстов подлинный.

Напомним, что член Географического общества Богуславский в описании Соловецких островов (стр. 152) про Голгофу поясняет:

„На вершине ее бывший духовник Петра I Иов, сосланный на Соловки, в 1712 г. основал небольшой скит с чудовищно строгим уставом. В 1828–1830 гг. здесь была построена каменная церковь с высокой колокольней".

Такой устав, более тяжкий, нежели строжайшие правила для схимников, едва ли находил достаточно добровольных страдальцев из других скитов на острове и из самой Соловецкой обители. Большинство монахов для него „рекрутировалось" из нарушителей монастырского устава. С поправкой на это и надо читать сноску на стр. 24-й „Архипелага...", что „монахи на Голгофе круглосуточно молились, поминая всех христиан живых и мертвых", и что, „имея возможность есть 'от пуза', они даже постную рыбу разрешали себе лишь по великим праздникам".

Вставка к стр. 223 – сразу вслед за куплетом:

К этим двум куплетам нашли еще один добавочный у другого летописца – В.В.М (стр. 39) составленный, по его пояснению, в КВЧ „как концовка ко многим песенкам":

Нас много, много – миллионы!
Нагадить мы всюду ловки.
Нас вежливо грузят в вагоны:
Кемь-пристань, потом – Соловки.

Все эти три куплета входили в программу „с в о и х" – труппы взломщика Бедрута (Ширяев, стр. 101), созданной в пику „каэрам", и „х л а м о м" никогда не исполнялись.

(Дальше – по тексту: „Уже 'по стилю' видно, что...".)

Сноска на стр. 233 о епископе Петре Звереве (к 4-й строке второго абзаца):

* Он скончался от воспаления легких и тифа в декабре 1929 г. на Анзере и похоронен в отдельной могиле. В Америке проживал (умер в 1983 г. в Париже, при операции) медик с Анзера, на руках которого, как он сам мне говорил, и угасла жизнь архиепископа. С 1929 г. почти все высшее белое и черное духовенство было изолировано на Анзере на командировке Капорская. Там было 120 православных и 30 католических священнослужителей. К работам их не принуждали. Как старший по сану, архиепископ Зверев помещался в отдельной комнате вместе с католическим епископом.

Добавление к стр. 235, между вторым и третьим абзацами снизу:

Не уточняя, о каких годах идет речь, кратко о положении духовенства на острове рассказывается и в „Новом Журнале" (стр. 159):

„В лес не посылались лишь лица духовных званий. Они должны были работать на заводах и в мастерских, обслуживать промыслы, склады, распределять продовольствие между заключенными и работать в канцеляриях. Жили они отдельной ротой и не принуждались к работе в лесу... Большинство из духовенства получало посылки от почитателей и родных. Оно и арестованные по церковным делам имели право посещать кладбищенскую церковь; всем остальным заключенным это было запрещено. Служили в церкви оставшиеся монахи, а также по желанию сосланное духовенство. Службы на Рождество и Пасху были очень торжественны и зачастую при участии больше десяти архиереев".

К этому краткому, но обстоятельному изложению наиболее близко подходят описания протопресвитера Польского и ген. Зайцева, но последний усиливал их, с патетикой оттеняя прежде всего двухнедельную карантинную атмосферу, общую без различия для всех вновь поступающих на Соловки этапов, из кого бы они ни состояли. Так начиналось ‚боевое крещение" соловчан до лета 1930 г.

(В следующих за этим трех строчках текста книги после фамилии Седерхольма нужно вставить ссылку на „Новый Журнал", и указанные строчки будут выглядеть так: „После того, что мы узнали о духовенстве от отца Польского, Ширяева, Зайцева, Седерхольма и из „Нового Журнала", послушаем, что пишет о нем один из первых соловчан Клингер (стр. 199, 200):").

Сноска на стр. 249, к третьей строке снизу:

* Более свежие новости узнаем из статьи С. В. Вереша в журнале Института истории Академии наук № 3 за 1967 год о необходимости срочной реставрации Соловецкого монастыря: „Братское кладбище, – пишет он, – разрушено (не поясняя, кем, как, когда и почему. – М. Р.). На его месте в годы войны построен госпиталь". При статье есть снимок монастыря. На нем за южными башнями, где на кладбище прежде стояла церковь Св. Онуфрия, теперь высовывается этот трехэтажный госпиталь, опошляющий красоту окружающей древности. Солженицын в „Архипелаге" на стр. 63-й передает чью-то информацию, что „кладбище это спустя некоторое время (после осенних расстрелов 1929 года. – М. Р.) было сравнено заключенными под музыку оркестра". Все же еще осенью 1932 г. кладбище существовало, и ежедневно проходя мимо него в свой барак, я видел поредевшие кресты, памятники и надгробные плиты вокруг закрытой церкви. Фотографию ее нашел только в одном 1905 года – издании Сытина, –

в очерке некоего Протопопова „Поездка в Соловецкий монастырь", но воспроизвести ее здесь не представляется возможным.

Вставка к стр. 253, после верхних двух строк:

В „Новом Журнале" (стр. 159) приводится характерный штрих тех первых сумбурных, переходных лет Соловецкого концлагеря на примере семьи этого самого Баринова: „Жена его ревностно посещала церковь, прикладывалась к образам, шла под благословение и там же окрестила своего ребенка, возможно, без ведома мужа".

Вполне правдоподобно, тем более что Баринов, по описанию Ширяева, „грубый и добродушный", а по оценке других взяточник, как и все прочее начальство. Труднее принять на веру другое, – будто „священника, работавшего в управлении лагеря, часто – как он уверял летописца из „Нового Журнала" – посещали коммунисты для исповеди и благословения".

Добавление к стр. 264, вслед за последней фразой („Вот бы повидаться да вспомнить старину!"):

...Нет, Скрипникова – не Зотова, что выяснилось лишь после выхода первого издания. Скрипникова, оказывается, была старостой („старостихой") для всех соловчан кремлевского отделения в 1928–1931 годах и по этой должности, не выборной, а назначаемой администрацией, в какой-то мере имела отношение также к женским командировкам на Заяцком острове (штрафной) и на Анзере (для „мамок"). Именно такое положение Скрипниковой на острове и ее твердый, смелый и прямой характер, на девяти страницах описанный Солженицыным („Архипелаг ГУЛаг" т. 2, стр. 642–650), позволяют верить, что „Неугомонная" бегала по начальству, пытаясь спасти жизнь сектантов, отправляемых на „Зайчики" без продуктов. Рядовую соловчанку за это прогнали бы взашей в лучшем случае: тебя, мол, за косы не дерут, чего ревешь?! После на Беломорканале она была при Успенском „помнач по быту" – должность, введенная во всех лагерях с 1931 года. При таких обязанностях она, естественно, не могла заслужить и получить беспристрастную оценку всех, с кем соприкасалась, особенно воровок и проституток. И я не бросил бы в нее камень за то, что из этой большой социальной прослойки, „качавшей права" в соловецком женбараке за кремлем, по ее рапортам из-за жалоб каэрок и крестьянок наиболее буйных „соцблизких" выдворяли в Заяцкий штрафизолятор (В В.М., стр. 27–29). Да и не о ней ли идет речь – ах, конечно же, о ней! – на стр. 227 очерка Горького о Соловках. Вот выписка из него:

„В комнатах верхнего этажа женщин было немного... в нижнем их оказалось больше, и, судя по одежде, по обстановке, они были

„попроще'. Одна из них, молодая, пышнотелая, с большими глазами, встретила старостиху (выделено мной. – М. Р.) злым криком: – Опять пришла, проклятая! Что же это, товарищи, вы ставите над нами интеллигенток? Как это? .".

Из реплик других „зэчек" выясняется, что сия особа, как подглядел Горький, „с весьма неблагочестивой татуировкой на руке ниже локтя", „сегодня домой едет, вот и шумит", „дурашливая она, а хорошая, добрая...'.

Поэтому обвинение В.В.М. Скрипниковой в том, будто „заключенные называли ее своим несчастием", – не просто голословное. Какие, однако, заключенные? За что? Когда? Кому? Никаких пояснений В.В.М. не приводит. Подобные с кондачка суждения не помогают понять сложную обстановку тех лет на Соловках и вывести на чистую воду истинных „идеологов" концлагерной политики и добровольных охотников в личных интересах исполнять и „перевыполнять' ее. Да и легковерных простачков вроде В.В.М. на острове хватало на все случаи. А владеть пером так, как Солженицын в „Архипелаге" – таких среди наших „летописцев" не было, кроме, пожалуй, Б Н Ширяева, но увлечение литературщиной при описании событий снизило историческую ценность труда Ширяева, сидельца первых лет концлагеря на острове, до, скажем, уровня „Князя Серебряного" гр. А. Толстого. Читать занятно, переживаешь вместе с автором именно те неповторимые годы, но для истории нужны факты, а не часто заменяющие их по духу вымыслы.

И очень жаль, что подробно описав долагерную и послесоловецкую (в 50-е годы – в Дубровлаге и Камышлаге) жизнь Скрипниковой, Солженицын ограничился лишь одним эпизодом из ее содержания на острове – эпизодом с попыткой спасти от голодной смерти на Зайчиках сектантов.

Уже знакомая нам по воспоминаниям О. И. Ясевич в числе двадцати женщин в конце лета 1929 г. с Попова острова была отправлена на Соловки. Это был еще послегорьковский разгул террора и произвола, под следствием и замком, ожидая расстрела, содержались действительные и притянутые к делу о „соловецком заговоре" интеллигенты. Что пережила в этот тревожный период Ясевич, попав под присмотр Анны Петровны? Послушаем:

„После бани и нового обыска, при котором забрали последние деньги, нас привели в Архангельскую гостиницу – женбарак и водворили в небольшую комнату второго этажа со сплошными нарами вдоль левой стены. Эта комната носила громкое название „карантина" („Память", № 1, стр. 141–143). 16 августа в карантин пришла командирша (может быть, сама Аня, или одна из ее нарядчиц. – М. Р.) и, прочтя список из 10-12 фамилий, в том числе мою и Татьяны Гиппиус (сестры поэтессы. – М. Р.),

велела нам „собираться с вещами"... Поднялась суматоха. – Это на торф, на торф! – кричали женщины.

Я помчалась в Совет старост" (т. е. в старостат, в его канцелярию. – М. Р.).

После объяснений про возраст, болезни, вторую категорию и просьбы поэтому назначить на посильную работу, они услышали от „дежурной старостихи":

„Успокойтесь! Все это мы знаем. И знаем еще, что вы обе художницы, что вы обе семь месяцев просидели в тюрьме, – и думаем, что вам только полезно будет последний летний месяц пожить на природе и отдохнуть от тюремного режима. А поскольку у вас вторая категория, вас там никто не посмеет послать на работы, и вы сможете бродить по лесу, собирать грибы и ягоды – ведь там режим гораздо свободнее, чем в кремле. А поработать-то здесь вы еще успеете – за три-то года!" Я чувствовала, – признается Ясевич, – что глаза мои уже полны слез, и сказав только – „Ну, спасибо вам, спасибо!" – бросилась назад укладывать вещи".

Ее и Гиппиус отправили на Анзер, и там Ясевич вскоре стала заведующей небольшой „кустаркой" вышивальщиц в Голгофско-Распятском скиту. Там при тифозной дезинфекции камеры (кельи?) серой она едва не задохнулась. Главврач тифозного лазарета дал ей освобождение и приказал весь день гулять по морозу, и она едва не заблудилась. Не этого ли „тамошнего врача" упоминает Солженицын, говоря о враче, который из человеколюбия по просьбе умирающих давал им стрихнин?

Вот по объяснению „дежурной старостихи" – а она являлась рупором Анны Петровны, тогда уже тридцатилетней женщины, – и надо судить о Скрипниковой, а не по тому, что „Успенский и другие называли ее бой-бабой" или уголовницы – „своим несчастием". Кому-то из последних, и не двум-трем, она стояла поперек горла. И съели бы они ее на горе каэркам, не будь Аня бой-бабой, способной обуздать таких.

Так это все надо уточнить, растолковать, чтобы читателю – самим-то соловчанкам понятно все! – стало ясно, что к чему и почему, а если кто не может не берись!

В том же сборнике „Память" (выпуск 1, стр. 291–294) помещена статья Н. Попова о послелагерной (в 60-е годы) жизни и характере Скрипниковой. „Личность ее, – подводит как бы итог своим высказываниям автор, – сложна. С готовностью помочь всем, кто нуждается в помощи, в ней уживается жесткий (не жестокий, но жесткий) характер. „После первой же ссоры всякие отношения я прекращаю...". От друзей и подопечных она требовала многого: „Я знаю, как надо, и будьте добры делать так, как говорю я". Из персонажей русской истории она, по словам Н. Попова, более всего напоминает раскольников.

Не по плечу взвалил на себя В В М. труд принизить Скрипникову, принудив меня, обессиленного жизнью и годами, выступить в ее защиту, так как других для этого тут в живых, кажется, не осталось, кроме самого автора „Архипелага" и В.В.М.

Мертвая Скрипникова (она умерла в июне 1974 г.) уже не выступит в защиту против обвинений ее без должных доказательств нашим В.В М. якобы в соучастии в событиях на Зайчиках, куда „она принимала стариков и сектантов... и каждого в отдельности проверяла по документам... могла бы рассказать больше, чего она не сделала, хотя и подозревать ее в какой-либо причастности к тем издевательствам нельзя, не зная точных фактов, но все же есть что-то затушеванное".

Так зачем же наводить тень на плетень? Зачем наталкивать читателя на необоснованную подозрительность, усиливая ее обвинением Скрипниковой в том, будто она „с гордостью носила военную форму со знаками отличия старосты женщин, вернее, поставщицы Заяцкого штрафизолятора, а на Беломорканале помощницы начальника Успенского по быту. Там (на острове) и тут она всегда жила в привилегированной квартире, имея личного повара-уборщицу". И тут же В В М добавляет: „Она была не из глупых, приличная женщина... Такая же жертва, как и миллионы других, не уголовница".

Зачем же, спрашивается, обдавать Скрипникову грязью и сразу же слегка смывать ее, бросая недорого стоящие общие фразы, не объясняя при этом соловецкую и вообще концлагерную обстановку и истоки ее несведущему и обычно легкодумному и легковерному читателю? И без В.В М. „указующие персты" в эмиграции упорно вбивают в головы простачков, будто основа основ всех концлагерных зол — это лагерная „пирамида", конкретнее сказать — те в ней, кто по приказу, добровольно или из шкурнических соображений оказался в ее верхних этажах и тем будто бы непременно помогал чекистам давить на застрявших в нижних этажах — на рядовых заключенных. И выходит, будто ни большевизм, ни его опора, Лубянка — тут ни при чем, а особенно, если из Москвы явилась комиссия кого-то взгреть, кого-то с „пирамиды" под нее, ну, совсем милые люди с малиновыми окольшами, вот кого не хватает в наших лагерях... Не так ли? Да, беда, коль пироги начнет печи сапожник...

Скрипникова оставила рукопись „Соловки" которую распорядилась передать для опубликования за границей после ее смерти своей приятельнице по лагерям литовке Агате Шилейкате, проживавшей в Кельне (Западная Германия). Не знаем, читал ли эту рукопись Солженицын и появится ли она когда-нибудь в Самиздате и в „Памяти', хотя бы в выдержках — Бог весть!

В первом сборнике „Памяти" опубликовано обширное, на 14 страницах письмо Скрипниковой XXIII партсъезду КПСС. Много заблуждений и наивной веры высказано в нем Анной Петровной, – хотя бы вот намерение переслать рукопись „Соловков" Агате через... Комитет для связи с соотечественниками за границей, издающий „Отчизну" и „Голос Родины" – рупоры и западни КГБ. Есть, конечно, в письме и зрелые, выстраданные взгляды и убеждения. Из этого письма привожу два абзаца с последней страницы:

„Возвращаясь к политтюрьмам и политлагерям, я должна отметить, что после XXII съезда КПСС, с 1961–62 года, произошла почему-то фашизация лагерей, а посылки государственные преступники получают в два раза меньше, чем уголовные. Норма: уголовным посылку в 5 кг через два месяца, а госуд. преступникам – только через 4 месяца, а в политзакрытках – через 6 месяцев...

Согласитесь, что такого безобразия не было даже при Сталине! В предисловии к „Соловкам" я отмечаю, что Соловецкий лагерь был, несмотря на все, самым гуманным (sic! – М. Р.) лагерем за все время существования советской власти. Поживем – увидим, может быть, мы снова вернемся к „Соловкам" и „Беломорканалу".

Браво, Анна Петровна, за правду сборищу верховных партийных палачей! Однако ярлык „самого гуманного лагеря" она наклеила Соловкам просто в запальчивости, вспоминая только 1930 и 1931 годы на острове, как Витковский в „Полжизни" и я в „Завоевателях". Но ведь были и поистине жуткие годы – 1924–1927, да и 1928 и 1929 – тоже не из сладких. Опять же: для кого и почему?

Колыма тоже не всегда была такой, как описана. Ежовщина и война во всех лагерях ввели голод и террор, но не все летописцы указывают, о каких годах у них идет речь.

Обидно, что и по сей день рукопись Скрипниковой не публикуется Самиздатом и не переслана тайком на Запад. Ошибочно страшатся признать, что „такого безобразия не было даже при Сталине", безобразия не только с посылками, а с десятками других сторон жизни в нынешних лагерях. Мне нет нужды перечислять их тут. Они известны из книг новых повоенных сидельцев, и лучшая из них – Марченко, бесхитростно и правдиво изложенная.

(Дальше следует глава 3 – „Лагерная оттепель".)

Сноска на стр. 280, к 3-й снизу строке первого абзаца (к словам „... и куски побросали в озеро"):

* Однако в „Новом Журнале" (стр. 166) дается несколько иное пояснение: „Около версты от Савватьево еще и сейчас (до 1927 года) видна небольшая площадка в лесу около дороги с камнем посередине и выбитыми

на нем именами, где в 1924 году были расстреляны пять „политических" заключенных за подготовлявшийся ими бунт. В числе их были две женщины".

Никакого бунта и расстрела, как документально явствует из всего вышесказанного, в Савватьеве не было. Стреляли в безоружную группу эсеров в час их пока что законной вечерней прогулки. А чтобы скрыть свое беззаконие, ИСО – кто же иной? – пустило слухи о бунте и расстреле „зачинщиков". Кто же рискнет возразить воспитателю: – Не бреши!

Так мало-помалу брех обрастал обликом вероятности и принимался на веру. Для расстрела нужно следствие, суд, приговор, хотя бы шемякин, но ничего подобного не было. Для бунта нужны хотя бы дубинки, – а и тех эсеры не имели.

Сноска на стр. 281, к 7-й сверху строке второго абзаца (к словам „... подробно повествует Олицкая"):

* Соловчанин в „Новом Журнале" (стр. 166) вывоз социалистов с острова объясняет тем, что они „организовали недозволенную отправку и получение писем из России и даже из заграницы через поморов... наезжавших иногда на остров с продуктами для кооператива (ларьков. – М. Р.) и начальства, преимущественно с картофелем и яйцами".

В поморах социалисты не нуждались. К ним на свидание в навигацию приезжали жены и родители, через которых они, несмотря на обыски, и поддерживали связь с „волей" и даже с заграницей. Социалисты сами не раз письменно требовали вывоза их на материк, так как на полгода они, как и все остальные сидельцы, были отрезаны от материка. Ни родственники за письмами, ни поморы с картофелем и яйцами зимой до Соловков добраться не могли. И тут кто-то не зря надул в уши соловчанам и о поморах, и о недозволенной связи через них.

Дополнения к главе „Аристократы-социалисты" (как ее продолжение, после слов „... как вспоминает Олицкая. М. Р." на стр. 283):

* *
*

Эта глава нуждается в нескольких добавлениях, также ставших известными автору уже после выхода его книг. Они взяты из „Писем из русских тюрем" вышедших на английском языке. Ограничиваемся лишь необходимыми для истории концлагеря на острове и в Архангельске, как это стало известным от социалистов, дополнениями и уточнениями того, что прежде узнали от Олицкой и Сапира.

1. Первым „комиссаром" над всеми концлагерями ВЧК был некто Кацнельсон (стр. 172). Он мог внести изменения в режим содержания заключенных, удовлетворить требования голодающих

или отказать в них, но, видимо, был из молодых, да ранний. Всегда оттягивал серьезные решения, перекладывая их на известных членов коллегии ВЧК и ОГПУ.

2. До „соловецкой бойни" на острове в сентябре 1923 г. побывал член коллегии ОГПУ Фельдман, согласившийся на ряд уступок в режиме социалистов. Но вскоре приехавший туда другой, более важный член коллегии Глеб Бокий отменил эти послабления, потому что „Фельдман не учел многих обстоятельств".

3. Начальником Второго Савватьевского отделения, где содержалось большинство социалистов, в год „бойни" был Розенталь. Это за его подписью старостам социалистов 19 декабря старого стиля был вручен московский приказ, ограничивающий прогулки временем с 9 час. утра до 6 час. вечера и требующий объявить его на перекличке-поверке (которая проводилась всегда в 8 час. вечера). Стрельба же в социалистов произошла в тот же день, еще до переклички, когда не было и 6 часов вечера, как утверждается в письмах.

4. Было три предупреждения командира охраны продолжающим прогулку эсерам и анархистам (меньшевики остались в кельях, чтобы „присмотреться к тактике начальства"): „Политзаключенные возвращайтесь в свои помещения!". Минуты через две последовало второе предупреждение, затем – третье, но „без угрозы применить оружие". Только тогда раздалась команда: „По мишеням – пли!" Через короткий промежуток времени, несмотря на то, что уже были убитые и раненые, уносимые в кельи, приказ стрелять был повторен дважды, так что солдаты стреляли уже в спины уходивших безоружных людей. Детали „Бойни на Соловках" приведены в „Письмах..." на стр. 201–204. В них же поясняется, что большинство солдат стреляли поверх голов, иначе были бы убиты все, кто находился во дворе (60 чел.).

5. Местное расследование „инцидента" соловецким начальством закончилось отправкой в Москву Розенталя, начальника охраны и его „политагитатора" натравливавшего солдат на социалистов. Как с ними поступили там, осталось неизвестным. Вскоре был вызван Лубянкой и Ногтев. Сами эсеры отказались давать показания как местной, так впоследствии и московской „ГПУшной" комиссии, поскольку в комиссиях отсутствовали представители Красного Креста (Пешкова), Второго Интернационала и Амстердамского (не красного) Профинтерна. Все детали положения социалистов на Соловках и стрельбы по ним пространно изложены в обращении к этим трем организациям, подписанном 233 политзаключенными (стр. 192–200).

* *
*

Впервые из тех же „Писем..." (стр. 174, 175, 185, 186) проясняется более подробная и заслуживающая доверия судьба тех восставших кронштадтских матросов, которые избежали расстрела на месте и были вывезены в Северные концлагеря. Архангельский концлагерь состоял из двадцати бараков, каждый длиною в 30 метров, с двумя рядами верхних и нижних нар. Вначале, с 1921 года, в барак набивали до 500 заключенных, в основном кронштадтцев, тамбовских антоновцев, врангелевцев и савинковцев. К 1923 году из-за голода и террора состав концлагеря сократился в несколько раз, так что перед его ликвидацией использовалось всего шесть бараков, и в них было не больше тысячи арестантов – „от ста до ста пятидесяти человек в каждом".

„Из пяти тысяч кронштадтских матросов через год (то есть к лету или осени 1922 г. – М. Р.) в живых осталось лишь полторы тысячи, хотя привезли их в лагерь молодыми, сильными, здоровыми" (стр. 175). „Когда мы, социалисты, в 1922 году были в ссылке в Архангельске, нам передавали, что кронштадтцев истязают и убивают тысячами в Северных лагерях, в Пертоминске, Холмогорах и др. Только тех, кто удачно бежал оттуда, еще можно считать живыми" (стр. 186).

Уже тогда, с первых дней „Особых" на Севере, „все командные должности в лагере, включая охрану, были заняты оштрафованными чекистами и теми, кто не устоял против лагерных условий – „точнее сказать, принуждены к этому", поясняют социалисты. Вслед за эмигрантской прессой об ужасах на Севере заговорила и свободная печать Запада. Красный Крест, тогда еще располагавший кое какими возможностями и весом, обратился к ОГПУ. Переписка между ними, конечно, осталась „государственной тайной". Все же стало известно, – и не только по „Письмам...", но и по воспоминаниям сидельцев из белых, в частности Клингера, что ОГПУ в конце 1922 или в начале 1923 года отправило в Архангельск комиссию под председательством Фельдмана для расследования на месте во всех тех лагерях: Архангельском, Пертоминском и Холмогорском.

Начальник Архангельского концлагеря, мерзавец с юридическим образованием, латыш Ойя, быв. начальник Тамбовской ГубЧК (очевидно, в 1919 – начале 1920 гг., после были другие. – М. Р.) не ожидая допроса, застрелился. Он еще по прежней должности был назначен к расстрелу, но как „своему" пулю заменили 25 годами концлагеря. Попал он, будто бы, не за политику, а за присвоение ценностей (а по советским обмолвкам – за начальные успехи Антонова. – М. Р.). Это при нем, при Ойя, ввели обязатель-

ное по сигналу пение арестантами „Интернационала" на поверках и разводах. Фельдман отменил пение, очевидно, сообразив, что оно позорит не узников, а большевизм и самый этот „международный гимн коммунизма". „Раздувать пожар мировой" словно бы не к чести ЧК–ГПУ голосами голодных, избиваемых и бесправных его жертв. Тем не менее, как узнаем дальше из „Писем...", – „Хотя теперь не принуждают петь, однако тех, кто не подтягивает, рассматривают как злостных контрреволюционеров, не склонных к раскаянию". Социалисты все же признают, что после комиссии режим стал более терпимым, обращение мягче и наказаний меньше; дневную порцию хлеба увеличили с 400 до 600 граммов.

Указаний, сколько же в 1922 и 1923 годах доставлено кронштадтцев на Соловки, так нигде и не нашлось. Конечно, не тысячи, вероятнее всего несколько сот, а может быть, и того меньше. Уже в Архангельске, как сейчас прочли, постарались не перегружать Соловки их телами, лучше – на материке... В „Письмах..." не раз упоминаются кронштадтцы, в защиту которых, как могли, выступали более спаянные социалисты. Речь при этом всегда шла о небольших группах из 6, 9, 12 матросов, добивавшихся признания их политическими, объявлявших голодовки, выбиравших своего старосту, протестовавших против насильственной отправки их товарищей на Секирку. Несомненно, что во всех этих протестах участвовали наиболее смелые, развитые, объединенные какой-то политической идеей группы кронштадтцев, но масса их, вот эти остальные матросы – до сотни или 2–3 сотни – тянули безропотно ту же упряжку вместе с соловецкими каэрами и уголовниками, с которыми делили нары, вшей и баланду.

Последнее упоминание о них содержится в официальном документе о положении на Соловках, опубликованном Международным бюро печати (читайте: Иностранным отделом ТАССа или, помягче и по-современному агентством „Новости". – М. Р.). В конце сентября и начале октября 1924 года Кемперпункт и Соловки обследовала комиссия из прокурора Верховного Суда Красикова и его помощника (по „надзору за ГПУ") Катаньяна „в присутствии члена коллегии ГПУ тов. Г. Бокия". Этим докладом на шести страницах (с 210 по 215-ю) потом на Западе оперировали кремлевские подпевалы, лакеи и легковерные, черпая оттуда „факты против меньшевистской пропаганды". Он заслуживает особого разбора, вне рамок этой работы.

Красиков старательно расписал все „привилегии" социалистов на Соловках: и питание-то у них вот какое – лучше московского рабочего, и тунеядцы-то они отъявленные – решительно ничего не хотят делать даже для себя, и выдумывают-то они всякие капризы

лишь затем, чтобы досадить администрации. Не прямо, но косвенно и ловко Красиков одновременно натравливает на социалистов всех прочих соловчан, похваливая их молчаливую покорность и скопом называя всех уголовными.

Для нашей темы о кронштадтцах достаточно и двух фраз из его доклада:

„В этом (1924-м. – Р. М.) году 350 заключенных освобождены досрочно Комиссией из представителей областного ГПУ и прокуратуры за добросовестную работу и хорошее поведение. Среди них было 16 матросов, участвовавших в Кронштадтском мятеже...".

Это же курам на смех, будто областное начальство могло освобождать до срока за что бы то ни было приговоренных коллегией или ПП ОГПУ к Соловкам. Таких сказок и ночами соловчанам не снилось! Очевидно, помощник соловецкого лесничего Борецкий (стр. 183 первой книги) был не очень далек от истины, поясняя Никонову, что из семи тысяч кронштадтцев в Северных лагерях, на Соловках осталось в живых (к 1929 году) всего девять душ; 16 матросов выпустили, 9 осталось. Где же остальные тысячи?.. И слышим ответ: „Праздный вопрос для восьмидесятых годов атомного века! Нишкните! Заткнитесь! ."

Вставка к стр. 290, как продолжение последнего абзаца, после слов „... в келью с Никоновым" но с новой строки:

В „Новом Журнале" (стр. 155, 156) приводится и удачный побег с Соловков четырех морских офицеров и матроса, долгосрочников, осенью 1927 года на рыбачьем баркасе с парусом при очень благоприятном стечении обстоятельств: темная долгая ночь, сильный попутный ветер, морской опыт. Два парохода и катер, высланные в погоню, не могли настичь их, и беглецы достигли Финляндии. Очень схоже, словно Ширяев, Никонов и автор рукописи говорят об одном и том же побеге, только услышали о нем от разных лиц и в разных, мало совпадающих версиях.

В том же „Новом Журнале" из рукописи узнаем еще об одной ранней попытке побега в 1923 году одиннадцати кавказцев. Они добрались до карельского берега, но, пробираясь к Финляндии, даже обезоружив в пути красноармейцев и захватив их оружие, не сумели скрыться от погони. Пришлось принять бой. Потеряв двух убитыми , оставшись без патронов, раненные беглецы сдались. На Соловках их подлечили, а через неделю, взвалив на телегу, привезли на кладбище и в телеге же пристрелили.

Вообще о численности побегов по всему *материковому* СЛОНу на редкость правдоподобные цифры приводит В.В.М. (стр. 36), как безусловно известные ему по работе уже после острова

в 1931 г. в учетно-распределительном отделе УРО – УСЛОНа в Кеми. „Со всех лагпунктов, пишет он, – бежало ежедневно 3-4 человека, больше всего летом, меньше – зимой. Девяносто процентов бежавших ловились оперохраной или сами возвращались в лагерь... Бежали больше всего уголовники" Но дальше он срывается из реальности в лагерную фантазию, пересказывая побег (с помощью жены) в гробу в багажном вагоне сотрудника того же УРО и его ядовитую телеграмму начальнику из Ленинграда: „Убежал. Чудеса в решете"...

Вставка к стр. 292, между первым и вторым сверху абзацами:

Книгу „Папильон" найдете в самых бедных библиотеках, которым не по карману „Архипелаг", и в массовых удешевленных изданиях. „Папильон" переведен на дюжины языков и печатался массовыми тиражами. Фактически побег был не с острова, а с материка, с места работы. И вообще в книге той много побегов от правды, а в фильме тем паче, как утверждал потом другой участник этого побега.

ВСТАВКИ, СНОСКИ И ПОПРАВКИ КО ВТОРОЙ КНИГЕ „СОЛОВЕЦКИЙ КОНЦЛАГЕРЬ В МОНАСТЫРЕ"

Вставка к стр. 8, между вторым и третьим абзацами:

Несколько иные цифры находим в „Новом Журнале" (стр. 167, 168):

„Преобладающим элементом на Соловках через несколько лет стали уголовники, одинаково мужчины и женщины, причем, например, последних в 1924 году было не больше 300, а в 1927 году уже больше 2 тысяч... В октябре или ноябре 1925 года на Соловки была доставлена из Москвы партия женщин в 490 душ, преимущественно проституток... в порядке „очистки" столицы... Многих в вечерних платьях, туфельках хватали на улицах, в кафе и сажали в арестантские вагоны... На Соловках они появились в самом жалком и невероятном наряде. Зимой, по снегу с пристани их погнали за 10 верст в Савватьево... Там на другой день после медицинского осмотра, из всей этой партии здоровыми оказались только сорок женщин – 450 были больны разными венерическими болезнями и туберкулезом. К осени 1927 года, перед моим отъездом с Соловков, более 300 женщин в этой группе успели умереть...".

Сноска к стр. 9, к 3-й строке первого снизу абзаца (к фразе, кончающейся словами „... при дежурной комнате"):

* В лучшем случае – раз в неделю по одному часу („Новый Журнал", стр. 164).

Добавление в конце 1-й главы „Долюшка женская" (стр. 16):

Чистяков – чекист, пропахший кровью и похотью. В таких нечего искать доброго семени. Шпана? Так она тоже не вздыхала при луне, а опрометью неслась „на зов природы". Ну, а как насчет росших в традициях „серебряного века" и оказавшихся на Соловках по 58-й статье, а тем более по бытовым, – вот этих самых „сотен стукачей из интеллигентов"? Барахтаясь на соловецком „дне",

такие, по образному выражению ген. Зайцева, „настроены абсолютно нелюбовно". Но поднявшись „со дна", дождавшись посылок, переводов, устроившись в конторах, - все ли они мечтали о семейном уюте, тосковали о покинутых детях? О таких образцовых уже писали и не таким, как мое, пером. Я передам иные факты, редкие, но мерзкие. Вот, к примеру, что вычитал я в воспоминаниях Н. П. Анциферова („Память" сб. 4, стр. 76, 77) о зиме 1929–30 года в Кеми при Управлении Соловецкими лагерями:

„Большим преимуществом той лагерной эпохи была легкость получения права жить на частной квартире (в Кеми у карелов для специалистов из Управления лагерем, в обход московских инструкций. – М. Р.). Друзья присылали мне и посылки, и деньги. И я был рад воспользоваться этим правом (как, если не забыли, секретаря Дорстройотдела УСЛОНа. – М. Р.). Я поселился вблизи Дорстроя в комнате с нашим бухгалтером Ефремовым Алексеем Павловичем и Николаем Ш. Дицманом (быв. городской голова какого-то кавказского города). Бухгалтер, упитанный, как Чичиков, бонвиван, вместе с тем был дельный работник (осужденный в Минске как агент Чан Кайши). Его день начинался, как выражался Дицман, особой „молитвой": „Без женщин жить нельзя на свете, нет!" – и кончался: „Про жизнь пустынную как сладко ни пиши, а в одиночестве способен жить не всякий". По вечерам к нему приходили гости, и компания до поздней ночи играла в преферанс, не опасаясь возвращения по главной улице в запретное время. От их разговоров о женщинах меня тошнило. Этих людей уже нельзя называть донжуанами... Все соловецкие женщины, по их убеждению, б... В женском теле их интересовали только три точки. Поцелуи были исключены из их любовной практики. Даже слово любовник исчезло из их словаря и заменено гнусным словом подстать всему остальному. Они в качестве административно-технического персонала требовали присылки к ним поломоек, но не для мытья полов. У них была охота за женщинами, приезжающими на свидание, и они хвастались своими молниеносными победами". „Но мимо! мимо!" – вспомнив, цитирует Данте Н. П., убегая от начатой темы.

Дальше от него же мы узнаем о судьбе трех из его одноделиц по религиозно-философскому кружку. „Обаятельная, сильная, умная Вера Герман вышла замуж за заключенного Ф., который всем казался недостойным ее". Другая, Лишкина, увлеклась тем Кругом, которого на свою голову пожалел Н. П., заполняя его анкету; третья „беззаветно увлеклась инженером Дорстроя Малиновским". „Вскоре я понял, – пишет Н П., – что женщина, заключенная в лагерь, попав в меняющуюся толпу, чувствует себя лишенной точки опоры, она гнется и хочет плющом обвиться вокруг какого-нибудь дерева".

Не всякое „дерево" в лагере прочно. Условия в лагере учат искать дуб, который может постоять и за себя и за „обвившийся

плющ". Сам Н. П. приводит такое доказательство сказанному: „Романы строго преследовались, – вспоминает он. – Помню, как Балмашев (начальник Дорстройотдела) диктовал мне служебную записку с целью разлучить двух влюбленных, перевести его в другой лагпункт, подальше от нее".

Из лагерных женских судеб можно набрать бесчисленное множество примеров похвального и отрицательного поведения в разных условиях при разном начальстве, в разные годы, „но мимо! мимо!" как к месту припомнил Н. П. Анциферов, иначе конца этой теме не будет. Она закончится лишь с гибелью лагерей и их творца – большевизма.

Сноска к стр. 17, к 3-й строке первого абзаца:

***В доступных мне материалах по истории советской власти в Закавказье такой фамилии не оказалось. – М. Р.**

Замена четырех строк второго абзаца на той же стр. 17: вместо „...начальствовал известный уже нам Д. Успенский" следует: „начальствовал некий Розе, бывший заключенный, в 1931 г. оказавшийся начальником 2 отделения Свирлага (а в 1941 г., допускаю, начальником участка в Абези на Усе, где Печорлаг строил мост через реку к Воркуте). На место Розе в КВЧ прислали вольного Чалова, которого, надо полагать, в 1930 году и сменил известный мне Истомин, хотя и вольный гепеушник с двумя кубиками в петлицах, но вполне подстать Неверову: тоже бесцветный, недалекий и безвредный. Подтверждений, будто Успенский в 1929 г. был начальником КВЧ („Архипелаг" стр. 62), не нашлось. Возможно, как заключенный он состоял инспектором или старшим воспитателем, как это допускает В.В.М (стр. 24). При Розе и Чалове – как писал мне другой соловчанин тех лет, работавший в театре, – „их заместителем все время был заключенный граф Ланской". В КВЧ не было „заместителя". Ланской, очевидно, состоял делопроизводителем. Хотя статьи и титулы заключенных на Соловках до 1933–1934 годов не являлись препятствием для любой работы в лагере, но высокое графское происхождение все же не подходило для роли политического воспитателя уголовников. Вот ротными и даже комендантами чекисты тогда не боялись назначать и графов, и князей, например, Сиверса, Оболенского, Эрдели. (Далее следует: „Основное назначение этого...".)

Вставка на стр. 21, после первого сверху абзаца из трех петитных строк:

Почти дословно рассказ Олехновича подтверждается в „Новом Журнале" (стр. 168, 169):

„Для развлечения лагеря был оборудован в кремле театр, где поначалу довольно редко, а в дальнейшем еженедельно самими же заключенными разыгрывались небольшие пьесы, преимущественно старого репертуара (разрядка моя. – М. Р.). Билеты на спектакли внутри рот распределяли помощники командиров (на бесплатные постановки. – М. Р.). В 1926 году был даже устроен платный кинематограф, причем заключенному, взявшему два билета, позволялось передать один билет по его указанию заключенной женбарака, и тогда он имел право провести весь вечер с ней в театре... Несмотря на все строгости и запрещения встречаться и разговаривать с женщинами, ухаживания и шашни были постоянным явлением".

(Дальше – по тексту: „Не все летописцы..." и т. д.)

Добавление на стр. 21, к оценке театра Андреевым (перед тремя звездочками):

Точно так ощущал себя и крепостной слуга, зайдя в трактир. В нем он как бы вольный человек, сам заказывает чай, барин не позовет чистить сапоги, не прикажет ставить самовар... Это подметил еще полтора века назад Герцен в своей книге „Былое и думы".

Добавление на стр. 24, сразу после двухстрочного куплета:

В „Памяти" (сб. 3) некто Ю. Овчинников, ссылаясь на „немногих уцелевших соловчан в СССР", передает, кем, когда составлялись эти скетчи, названные „Соловецким гимном".

„Музыку для гимна написал Александр Александрович Кенель (р. 1893 г.), выпускник Петербургской консерватории по классу скрипки, студент историко-филологического факультета и Училища правоведения, арестованный в 1927 году по „делу правоведов" и освобожденный в 1930 г., впоследствии за хакасский песенный фольклор получивший звание заслуженного артиста РСФСР".

„Дело правоведов" – это „дело лицеистов" в Ленинграде в 1925 г. О нем почти достоверные сообщения даны летописцами Седерхольмом, Бессоновым, Андреевым, Ширяевым. Следовательно, Кенель попал на Соловки не в 1927 году, а раньше, к тому же „гимн" с такой музыкой исполняли чуть ли не с конца 1925 года.

Тот же Овчинников автором „гимна" называет Бориса Александровича Глубоковского, „литератора и одного из руководителей соловецкого театра". Летописец Ширяев, хорошо знавший Глубоковского, называет его также артистом Камерного театра и добавляет, что после Соловков „в Москве он отравился морфием, случайно или намеренно, – я не знаю" (стр. 77). Очень

сомнительно, будто Глубоковский, по Овчинникову, на Соловках стал наркоманом. Где там достанешь наркотики? А достанешь – „излечат" Секиркой.

Овчинников дает и полный текст песни. Приводим его, чтобы читатель мог сам судить о расхождениях по обеим редакциям:

Море Белое, водная ширь,
Соловецкий былой монастырь,
И со всех концов русской земли
Нас с любовью сюда привезли.
Хороши по весне комары,
Чуден вид от Секирной горы.
А зимой стерегут от беды
Целых полгода льды.
(Вариант: И от всяких ударных работ
Здоровеет веселый народ.)
Круглый год под осенним дождем
Мы приезда Комиссии ждем
И наевшись вонючей трески,
Мы не знаем ни горя, ни тоски.
Привезли нам с надеждами куль
Бокий, Фельдман, Филиппов и Вуль,
А назад увезет Катаньян
Только нежный напев соловчан:
Всех, кто наградил нас Соловками,
Просим: приезжайте сюда сами.
Поживите года три или пять –
Будете с восторгом вспоминать.
(Или вариант: Посидите здесь
годочков десять–пять...)

Тот же Овчинников приводит не донесенный моей памятью полный текст стихотворения на ту же тему, распространившегося на Соловках тремя годами раньше „гимна" и получившего известность. Собственно говоря, это не стихотворение, а „полудружеская полусатира" на Глеба Бокия. Вот она:

Ура! „Параша" возвещает:
Проверить соловецкий склеп
На той неделе приезжает
На „Глебе Боком" Бокий Глеб.
Настроен я пессимистично,
Весь слух (в „Памяти" – мир. – М. Р.)
мне кажется нелеп, --

Но это даже... экзотично:
На „Глебе Боком" – Бокий Глеб.
Зачем он едет? Помолиться?
Отведать арестантский хлеб?
Иль просто хочет прокатиться
На „Глебе Боком" – Бокий Глеб?
Даст ли вылазку (высылку? – М. Р.) каэрам,
Иль шпанский разгрузит вертеп? –
Плывет навстречу всем химерам
На „Глебе Боком" – Бокий Глеб.
Но, право, будет не до смеха,
Когда, к надеждам нашим слеп, –
Так и уедет, как приехал
На „Глебе Боком" – Бокий Глеб.
Промчится год. Треска и каша
Сорвут с надежд печальный креп.
– Вновь едет, – возвестит „параша", –
На „Глебе Боком" – Бокий Глеб.

В обоих текстах – „гимна" в двух вариантах и куплетов о Глебе Боком – видна опытная рука одного и того же литератора: либо Глубоковского, либо Ширяева, или обоих, а может, – одесского эстрадного куплетиста на соловецкой сцене 1924–1926 годов Жоржа Леона, о котором вспоминает Ширяев. Я тут обронил всего лишь свои догадки.

А пока что вернемся к повествованиям Ширяева.

(Дальше по тексту: „Параллельно со сценой..." и т. д.)

Добавление на стр. 26, в самом низу:

* *
*

Уже после выхода обеих книг встретил соловчанина, от которого узнал, правда, без подробностей, имена нескольких лиц, работавших в соловецком театре после Ширяева, точнее – в 1929–1931 годах. Директорами театра были Витов и Наливайко, режиссерами – Джелял Махмуд Меинов из симферопольского театра и некий Комиссаров. На сцене играли: баронесса Энгельгардт (выехала с острова, окончив срок; упоминается и Ширяевым на стр. 96), Варвара Пфайфер, Зоя Попова и певица Наталия Бурова (возвратившаяся из Италии) артист МХАТа Федор Ванглер, умерший на Соловках от тифа. Оркестром дирижировал Вальтгардт,

а художественным руководителем состоял Ильштейн из театра Корша. Театральные декорации писали академик художник Смотрицкий, Мидорождан и Зябликов, освободившийся в 1930 году. При театре был даже скульптор, – Шераимов. Однако все эти данные нуждаются (как и многие, многие другие, включая и те, что отобраны мною из „летописей" соловчан) в дополнительной проверке и „отсеве" при этом тех, что окажутся просто слухами.

Сноска к предпоследнему абзацу на стр. 32 (кончающемуся словами: „... давали его в изобилии"):

* Даже журнал Института истории Академии наук (№ 3 за 1967 г.) в статье С. В. Вереша о Соловках отмечает, что „с 1924 по 1930 годы (с небольшими перерывами) выпускался журнал „Соловецкие острова", в котором мы и сейчас находим ценные сведения об истории монастыря и природе острова... Немногим известно, что в 20-х годах здесь работали библиотека, музей монастыря, театр, краеведческое общество...".

Добавление на стр. 40, в конце 5-й главы – об „ударниках", отдельным абзацем:

Все, что здесь рассказано Зайцевым, нашло подтверждение и в „Новом Журнале" (стр. 169):

„Большим злом на Соловках были так называемые „ударники" – срочные работы... сверх постоянной дневной". Среди многих видов „ударников", перечисленных в „Новом Журнале", заслуживает быть особо отмеченным такой: „Зимой, при глубоком снеге... чтобы облегчить волам и лошадям вывоз леса, заключенные, выгнанные на „ударник", ставились тесно в ряд по 6-8 человек, и так, один ряд за другим, должны были утаптывать снег, который часто доходил до пояса; пройдут известное расстояние – передние 2-3 ряда отводят назад, а их место занимают следующие, и так это продолжается до тех пор, пока не пройдут (т. е. утопчут) всю дорогу".

Вспоминая четвероногий живой инвентарь Ухтпечлага тридцатых годов, должен удостоверить, что его соловецкие соплеменники выезжали на живом инвентаре д в у н о г о м на всех видах лесных работ.

Сноска к четвертой сверху строке 41-й страницы:

* В дореволюционной литературе она часто называлась бухтой Благоденствия.

Сноска ко второму сверху абзацу на стр. 43:

* По В.В.М. (стр. 23, 24) он не ротный, как у Солженицына (стр. 42), а „художник театра немец Вальтер Кунстман, преогромнейшего роста". Свои работы подписывал сокращенно: Кунст.

Вставка перед первым абзацем на стр. 44:

Более спокойно об этих лицах рассказывается в „Новом Журнале" (стр. 157):

„Эта группа, так сказать, аристократия Соловков, составляла в кремле отдельную роту. Из этой роты набирались кадры охраны, и из нее же в дальнейшем комплектовались смотрители, руководители и заведующие производствами и отраслями работ на Соловках. На тяжелую работу никто из них никогда не посылался, и подавляющее их большинство, если только не были какими-нибудь специалистами, составляли охрану всех соловецких островов и скитов на них".

Сноска к концу второго абзаца на стр. 44:

* Вот для суждения состав одной из келий 10-й роты, в которой помещался в 1930 году молодой художник, недавно умерший в Америке: 1) потомок бывшего владельца и основателя Обуховского завода в Петербурге инж. Обухов, 2) проф. Ананьев, 3) инженер Панкратов, проходивший по Шахтинскому процессу (в своей иодной лаборатории он в 1932 г. угощал меня спиртом. – М. Р.), 4) атаман Терского казачьего войска, 5) В. П. Костенко, наблюдавший в Англии за постройкой броненосца „Орел" и находившийся на нем в пути до Цусимы – вырученный Новиковым-Прибоем в помощь ему при описании истории русско-японской войны на море и пребывания обоих в плену у японцев, и 6) художник, о котором сказано выше.

Вторая сноска к стр. 44 – к фразе, кончающейся словами „...заметную часть своего здоровья" (последняя строка на указанной странице):

* Тут всегда численно преобладал уголовный мир и царил его кастовый закон. О нем кратко сказано в „Новом Журнале" (стр. 161):

„Товарищество у уголовников было развито сильно, и если бывали случаи выдачи одним другого, то они карались беспощадно. Командир 11-й роты Лин, железнодорожный вор, постоянно бивший и притеснявший своих же уголовников, освобожденный в 1925 году досрочно, был за это убит своими же в 1926 г. в Астрахани".

Вставка к стр. 45, после третьего сверху абзаца (набранного петитом):

„Каждый заключенный, – подтверждает и „Новый Журнал" (стр. 165), – прилагал все старания выбраться из кремля безразлично куда (ну, в лесто, впрочем, никто не стремился. – М. Р.). Жизнь вне кремля была значи-

тельно спокойнее, проходила не на глазах начальства и в продовольственном отношении была много лучше (выдавали на руки сухой паек), но получить такое назначение без протекции или денег было очень трудно. За большое счастье считалось попасть в рыбные артели, где жилось легче, сытнее и гораздо свободнее... Заключенные, работавшие на заводах и в мастерских, находившихся вне кремля, были в большинстве также сухопайщиками... и жили зачастую тут же, при своих предприятиях. Много сот заключенных было занято на кирпичном заводе и с 1925 года на торфяных разработках".

Вставка к стр. 49, после второго снизу абзаца (набранного петитом):

Несколько иные цифры находим в „Новом Журнале" (стр. 169):

„Около пятидесяти лицеистов были высланы на Соловки, а около тридцати расстреляны в ночь с 4 на 5 июля 1925 года... Было на Соловках также 12 офицеров Преображенского полка, высланных туда на три года и провинившихся лишь в том, что в день полкового праздника они отслужили в своем соборе панихиду и молебен".

Что-то есть общее между лицеистами, этими офицерами и обеими панихидами, но при попытке анализа приведенных сообщений мы невольно и неизбежно нагородили бы кучу новых загадок. Пусть уж историки уточняют по сохранившимся, может быть, первоисточникам.

Добавление к главе о Бразе – в самом ее конце, стр. 53-я:

Вдова Браза в тяжелых материальных условиях проживала в гор. Граце в военные годы. Неизвестно, как к ней отнеслись „освободители".

На стр. 55 необходимо в ы ч е р к н у т ь последнюю строчку 3-й главы („Ковбой не исключение. Читайте дальше".) и заменить следующим текстом:

Похвальнее многих на сей раз высказался о ковбое и козле у Солженицына В.В.М (стр. 20): „Верховая езда Дегтярева на козле – это анекдотический рассказ". Тут уж исправлять его нет ни поводов, ни нужды.

Добавление к стр. 56, перед последним абзацем (после слов „... не для скептиков"):

А впрочем, в те годы и такое могло случаться. В „Новом Журнале" (стр. 163) безымянный соловчанин, в основном подтверждая главные причины, из-за которых Виоларо оказался на Соловках, добавляет:

„Граф, видимо, человек богатый, сумел сразу же устроиться и, несмотря на незнание русского языка, был назначен заведующим „био-садом", в котором находились – один орел, несколько чаек и уток (т. е. гаг. – М. Р.) и два-три северных оленя; там же ему с женой отвели очень приличное помещение... Другим заключенным совместное проживание с их женами, тоже заключенными, не разрешалось; в лучшем случае, свидания разрешались один раз в неделю на один час. Этот зоологический сад находился приблизительно в трех верстах от кремля, в лесу, вблизи усадьбы начальника Эйхманса, который со времени появления новых соседей, вероятно, им же самим себе выбранных, стал бывать у них частым гостем".

Эйхмансу, добавлю от себя, – конечно, были приятны беседы по-русски с красивой графиней при молчаливом созерцании их ее супругом. Русская речь тут в такие часы звучала иначе, чем на этих „теперь густо заматеренных Соловках". В мои годы (1931, 1932) старые соловчане, вспоминая Виоларо, называли их интернированными, что, по-моему, ближе к правде.

Добавление к главе 7-й о Брусиловой, в самый ее конец, перед 8-й главой („Наш Ванька") – на стр. 66:

* *
*

В серии „Жизнь замечательных людей" в Москве в 1980 году (т. е. уже после выхода в свет моей книги) появилась книга С. Семенова „Брусилов". Среди трехсот страниц в ней нашлось несколько упоминаний и о нашей соловчанке (стр. 291, 295, 296, 311–314). Вот они:

„Еще до революции сын Брусилова Алексей женился на семнадцатилетней Варваре Ивановне Котляревской, богатой и, видимо, честолюбивой девушке... По характеру она была доброй и отзывчивой... Брусилова-Котляревская сделала немало добра семье генерала, в частности очень заботилась о свекре, когда он лежал раненым (случайным осколком, залетевшим в квартиру), а в сентябре 1918 года был под арестом (среди заложников при красном терроре, объявленном в ответ на выстрел Фанни Каплан в Ленина и убийство начальника Петроградской ЧК Урицкого. – М. Р.). Режим для заложников был не слишком строг. Брусилову разрешались прогулки по Кремлю..." (Спохватившись, а не переусердствовал ли он тут, автор добавил: „Впрочем, кое-кого из них и расстреляли".)

Муж Варвары Ивановны, бывший гвардейский офицер, человек будто бы аполитичный – „ни туды и ни сюды" – не найдя подходящей работы, кем-то из окружения оскорбляемый, как „офицеришка-нахлебник", вдруг куда-то исчез из Москвы.

„...В декабре 1919 г. Брусилову-отцу принесли фронтовую газетку, и в ней он прочел: „В Киеве по приговору военно-полевого суда белыми расстрелян быв. корнет Брусилов, сын известного царского генерала. Он командовал красной кавалерий и попал в плен к белым под Орлом".

Содержание заметки сильно смахивает на продуманную провокацию, чтобы настроить Брусилова против белых. Сам автор книги добавляет к заметке: „Но это была лишь одна версия гибели сына, существовали и другие. Отец так и не узнал с достоверностью, где и как погиб его сын".

Отказавшись жить с родителями пропавшего мужа, Варвара Ивановна будто бы „стала устраивать политические салоны. Ее гостями были то епископы, монахи и монахини, то матросы и деятели крайнего большевизма... Вскоре Брусилову арестовали по какому-то „церковному делу", ей грозил расстрел. Родители мужа выручили невестку, представив медицинские свидетельства о ее ненормальности. Но и после этого она не прекратила сумасбродства".

Сказать, что Брусилову вскоре на долгие годы упрятали в Соловки, писатель Семенов не посмел. Зато со всеми подробностями описаны похороны генерала, принятые на счет Реввоенсовета. Речи Егорова, Буденного, венок; рота пехоты, эскадрон кавалерии, батарея артиллерии сопровождали гроб до Новодевичьего кладбища. Все изложено без вранья, как тогда и я с хроникерской краткостью и сухостью изложил для ТАССа. Упущено Семеновым только одно — а я писал и об этом, — что генерала отпевали в небольшой церкви на Остоженке, неподалеку от его квартиры. Я стоял в трех шагах от гроба, среди, может быть, двух-трех десятков уцелевших сослуживцев Брусилова; здесь же была его вдова. Допускаю, что тогдашний мой редактор по ТАССу — Костя Паустовский вычеркнул про церковь и отпевание, или по заметке прошелся карандашом сам ответственный руководитель ТАССа Далецкий.

Вдову Брусилова вскоре выпустили жить за границу, где она опубликовала воспоминания от имени мужа. По словам Семенова, „ту неприязнь, которую Брусилов всегда питал к Троцкому (к своему прямому начальнику. — М. Р.) и троцкистам, эта пожилая и нервная женщина перенесла на Советскую Россию целиком. Получилась та полуправда, которая порой хуже прямой лжи и клеветы"...

Не читал воспоминаний вдовы, но вот насчет Варвары Ивановны сам Семенов отличился той „полуправдой, что хуже лжи и клеветы", не дописав ее биографию. А он ее, несомненно, знал во всех подробностях.

Добавление к первой сноске — о Тельнове — на стр. 70-й:

Ширяев не излагал сухую историю Соловков, как пытаюсь делать я, а писал, подавая факты и слухи в художественном оформлении, подобно Сол-

женицыну в главе о Соловках. Можно вносить поправки в их изложение, но нельзя упрекать в намеренном нагнетании ужасов или в безотчетном причесывании соловецких будней. Были и ужасы, были и серые лагерные будни, только не всеми летописцами передавались в правильной пропорции.

Вставка к стр. 70, между первым и вторым абзацами (перед словами „Для эпилога о Тельнове...") :

В „Новом Журнале" (стр. 153, 154) тоже упоминается Тельнов в изложении, которое для дальнейшего обсуждения следует повторить тут почти полностью:

„Для характеристики царивших нравов на Кемперпункте как среди заключенных, так и начальства, приведу случаи издевательства, происходившие в 1924–25 годах. С одной из партий заключенных был доставлен в 1924 году на Попов остров бывший офицер Иван Тельнов, человек еще молодой, лет тридцати, энергичный и дельный, но абсолютно беспринципный. Проделав войну – мировую и гражданскую – он эвакуировался с Белой армией с юга России в Константинополь, но вернулся в 1923 или в 1924 г. обратно в Россию и был арестован ГПУ.

Начальнику Кемперпункта – быв. вахмистру Баринову Тельнов приглянулся, был оставлен на Поповом острове и вскоре стал старостой лагеря. Как таковой, он принимал прибывавших заключенных и руководил обысками... Сдаваемые добровольно или отбираемые при обыске деньги вносились на личные счета заключенных, и ими они имели право пользоваться при покупках в кооперативе всего им нужного. Начал Тельнов с того, что стал утаивать часть отбираемых у заключенных денег и таковые пропивать вместе со своим начальником Бариновым, с которым успел подружиться. Этим, однако, Тельнов не ограничился и дошел до того, что начал насиловать заключенных женщин, проходивших через его руки как старосты лагеря. Все это осталось бы, вероятно, нераскрытым, если бы он не имел несчастья столкнуться с одной молодой заключенной, видимо, ему очень понравившейся. Оказалась эта женщина московской коммунисткой, в чем-то провинившейся и высланной на Соловки... После непродолжительного пребывания на Соловках она была прощена и вызвана обратно в Москву. Вернувшись в лоно своей партии, она рассказала кому следует о происходящих в Кемперпункте безобразиях и произволе, и московское ГПУ начало расследование.

Следует еще упомянуть, что Тельнов за время своего пребывания на Поповом острове сошелся с коммунисткой Фельдман, не заключенной, женщиной-врачом, присланной из Москвы заведовать лазаретом пересыльного пункта. Ходили слухи, что Фельдман была выслана из Москвы своим мужем, большим коммунистом – главным прокурором суда, недовольным ее легкомысленным поведением.

Тельнов, сейчас же арестованный, был отправлен в Москву на допрос, но вскоре возвращен и водворен в обычное заключение на Соловецком острове. Баринов и Фельдман были переведены с Попова острова на Соловки, причем первый был назначен начальником 1-го (кремлевского) отделения, а Фельдман – начальницей соловецкого лазарета. Вскоре после этого из

Москвы пришел приказ о расстреле Тельнова. При казни присутствовали Баринов и Фельдман – экс-метресса и друг. Вместе с Тельновым были расстреляны еще пять заключенных за попытку побега с Драгуном...".

Эпопея Тельнова изложена как будто убедительно, события логично увязаны, словом, не так, как у других летописцев. Однако при проверке и сопоставлении с другими свидетельствами и тут оказываются бреши и прорывы. Начнем же по порядку, где и что спутано и напутано неизвестным соловчанином, и тем воссоздадим более или менее истинные события за время пребывания Тельнова в Соловецком концлагере (конец 1923 г. по Ширяеву – сентябрь 1925 г. по всем записям).

1. С 1923 г. по январь – март 1924 г. начальником Кемперпункта был уголовный Калугин, а после его изгнания вплоть до июля или августа 1925 г. эту должность занимал Иван Иванович Кирилловский, с которым „наш Ванька" и пьянствовал, будучи переведен из кремля в Кемперпункт в декабре 1924 г. или, по другим сведениям, в мае 1925 г. Из-за Тельнова-то и перевели вольного Кирилловского на остров в Савватьево, прислав взамен недалекого умом сибиряка Федякова.

Все это можно вычитать в книге Мальсагова „An Island Hell" – „Адский остров". Мальсагов бежал с Бессоновым, а с января 1924 г. по день побега – май 1925 г. – содержался на Поповом острове как нарядчик. По этой своей должности он хорошо знал обстановку и все начальство Кемперпункта. Ни Баринов, ни Фельдман никогда не служили на Поповом острове, иначе нашелся бы их след в книге Мальсагова. Баринова как начальника кремлевского (Первого) отделения УСЛОНа помнят и описывают все первые соловчане, начиная с Клингера и Ширяева и кончая Зайцевым и Седерхольмом; одни называют его „грубым, но благодушным" (Ширяев), другие – взяточником, как и все прочее начальство.

2. Заведовала лазаретом на Поповом острове во время Мальсагова весьма опытный врач Мария Николаевна Львова с пятилетним сроком, надо полагать по 58-й статье, военный врач мировой и гражданской войны. Пережитое, несомненно, истерзало ее психику и нервы. Львова страдала алкоголизмом, не стеснялась употреблять матерщину и вообще, видимо, забыла клятву Гиппократа, обеспечив Мальсагова материалом о себе на целых четыре страницы (162–165). Вот чуть попозже тут и мог „погореть" староста Тельнов, попользовавшись прелестями какой-то бывшей партийной красотки, дождавшейся своего часа.

Тельнова взяли в Москву проверить жалобу (не доверяя это дело местным „вершителям"), возвратили на Соловецкий остров

и расстреляли, конечно, не так сценично, как повествует Ширяев: вывели ночью через Святые ворота с группой других приговоренных к готовым ямам на Онуфриевом кладбище и... Начальнице санчасти – врачу М. В. Фельдман по должности положено присутствовать при „высшей мере" и своей подписью на акте удостоверить расстрел. Может быть, чувствительная по Ширяеву Фельдман всхлипнула при этом, вспомнив иные минуты, проведенные с Ваней, и отвернулась, когда Отен или кто другой плоскогубцами вырывал золотые коронки у теплого трупа.

А что Иван Гаврилович в кремле побывал ее любовником, тут нет сомнений. По должности он всегда имел повод посещать лазарет. Почему же мадам Фельдман и не воспылать к нему вожделением, лицезрея такого Рудольфо Валентино? Фельдман, повторяю, никогда не служила и не могла служить на Кемперпункте еще и потому, что муж ее – он не „главный прокурор суда", а одно из ответственных лиц при коллегии ОГПУ – назначил ее на остров также для медицинского обслуживания социалистов. В одном из писем от них („Письма...", стр. 171) читаем:

„Только четыре больных взяты от нас на материк, а остальным отказано, хотя женщина-врач, недавно посланная сюда Фельдманом (вот эта жена, М. В., „для охлаждения африканских страстей" – нашел же где остуживать их, простофиля! – М. Р.), включила в список на вывоз на материк по здоровью десять человек". Письмо это датировано декабрем 1923 года. И в 1924, и в 1925 годах, по всем летописям соловчан, Фельдман благополучно начальствовала в кремлевской санчасти и обслуживала социалистов в Савватьеве и Муксольме.

Готовил ли Тельнов восстание на Поповом острове или только перед кем-то хотел порисоваться – кто и чем может теперь – да и в те годы кто бы мог? – подтвердить или опровергнуть сообщенное Клингером? И без того потребовалась уйма кофейной гущи, чтобы от домыслов приблизиться к правде.

Не вижу причин у начальника Первого отделения Баринова к пьянству в компании Тельнова. Все главное вольное соловецкое начальство первых лет – все чекисты Ногтев, Эйхманс, Васьков, Головкин, Баринов, Борисов были, по всем летописям, отменными пьянчугами и бражничали скопом на „вилле" Эйхманса в Макарьевской пустыни. Любому из них панибратствовать за бутылью с арестантом-белогвардейцем Тельновым было бы и зазорно, и опасно. Но войти с таким в скрытый дележ утаенных денежек – почему нет? Червонцы не пахли, как водка. И за это он мог не замечать других наказуемых похождений и делишек Тельнова.

Вспоминая пороки Тельнова, для расцвета которых большевистский концлагерь представлял в годы НЭПа такую плодород-

ную почву, не надо бы закрывать глаза и вычеркивать из памяти все то, что доброго – в меру своих сил – делал для каэров „наш Ванька" Он держал шпану в ежовых рукавицах, не допуская ее открытого террора над остальным еще до нее запуганным и от природы робким составом соловчан и оказывал „блат" своему брату – белому офицерству.

Дополнение к сноске на стр. 72 (о самоварах и Вонлярлярском):

Кстати, о самоварах. В царской Сибири рядовому каторжнику омской тюрьмы Ф. М. Достоевскому за его „чаевые" самовар грел другой каторжник. На сталинском Острове Слез в конторке Морской лесобиржи летом 1932 г. арестантам ОГПУ – начальнику пристани Вонлярлярскому, прорабу биржи лесоводу Буланкину и счетоводу Розанову – самовар готовил батюшка Шадымов с Урала, тоже счетовод.

Ожидавший в кремлевском карцере отправки на Секирку летописец, генерал И. М. Зайцев, почти по блату, после разборки старого сортира был послан на подноску дров для бани № 2, что за кремлем. Там, снисходя к его измученному виду и чину генерала, тамошние банщики-грузины (в 1926 году) в час „перекура" устроили ему „сюрприз" (стр. 143): „В самой бане на широкой скамейке кипел самовар, на бумаге приготовлены: белый хлеб, колбаса, масло, копчушки, монпансье. Для пояснения лицам, не видавшим горя, скажу...".

...Короче, его же словами: „радовался, как дети при виде рождественской елки".

* *
*

Пора и мне изложить историю *нашего Ваньки,* по-моему, наиболее близкую к правде, используя при этом из „летописей" о нем лишь то, что не отношу к „парашам".

Тельнов, доставленный на остров в конце 1923 года, быстро завел дружбу с белыми офицерами „завоза" 1922 и весны 1923 года, уже всплывшими со „дна" С их поддержкой он вскоре поднялся по лагерной лестнице: побывал писарем, нарядчиком, взводным, ротным, и на этой высоте его заметил Баринов, начальник кремля. На какой-то короткий отрезок времени „достиг он высшей власти" – кремлевского старосты.

Иван Гаврилович, бывалый поклонник Бахуса и напористый, неотразимый сердцеед-Казанова, использовал свое положение после долгих „постов", не особенно-то философствуя о моральности тех или иных своих деяний, но не думаю, чтобы он насиловал интеллигентных соловчанок из потерявших семьи и мужей. Посе-

щая лазарет, Тельнов приглянулся мадам Фельдман, и лагерный Купидон благословил их на короткую, но пылкую связь. А Клингер или не знал о том, или посчитал более „тактичным" подменить Фельдман надуманной Александровской.

Баринов сквозь пальцы смотрел и на постельные похождения Тельнова, как будничные для тех лет и условий, и на утайку им части „законно" отобранных денег у вновь прибывающих. Тельнов-то пришелся ему ко двору: не будучи дураком, он обеспечивал Баринова и водкой, и червонцами на прочие нужды. И еще кое-кого из полезного ему начальства подкармливал и подпаивал Тельнов, так что, если бы пошел ко „дну", вполне мог потянуть за собой многих; заварилась бы добрая каша!..

Но нарядчики из грузин-меньшевиков имели свои причины точить зубы на Тельнова. Для них он, белогвардеец, был не лучше красных командиров и чекистов, тем более что защищал в кремле своих „золотопогонников" и каэров, когда, „качая свои права", эти нарядчики старались спихнуть их с „теплых местечек" и отправить в лес или на торф. В своих доносах Третьей части они обвиняли Тельнова во всех грехах: и в пьянке, и в подкупах, и в утаивании денег, и в распутстве, и в кулачной расправе со шпаной. Нет сомнения, что, кроме нарядчиков, и другие соловчане из мелких чекистов, коммунистов, да и сексоты тоже, стучали на Тельнова. Он многим из таких насыпал соли на хвост.

Васьков, начальник Третьей части, ознакомил с доносами и Ногтева, и Эйхманса, и Баринова, и Головкина, – таких же пьянчуг, как он сам. „Что посоветуете, товарищи? Переслать „сигналы" Лубянке? А вдруг комиссия!.. С Тельновым и других потянут. Кто тут из наших не пьет, чужим не пользуется, баб к себе не таскает или не заманивает? Кто, спрашиваю вас? И нам тогда достанется по загривкам". И решено было: послать в Москву более скромное заключение по доносам, чтобы лишь одному Тельнову добавили срок. Так оно и вышло, а возможно, в те годы еще и лично Васьков с Ногтевым и Эйхмансом, как местная „тройка", могли сочинить приговор, как это на факте показано в 1925 году на Кемперпункте Михельсоном, от имени „тройки" застрелившим двух уголовников (по летописи Седерхольма). Словом, замяли дело и, чтобы от греха подальше, тут же с последними пароходами 1924 года сплавили Тельнова в Кемперпункт к Кирилловскому. Там в феврале 1925 года в столыпинском вагоне Бессонов и встретил Тельнова, как командира полка, т. е. всех рот пересылки, а старостой – генерал Зайцев в июне того же года, т. е. за 2–3 месяца до расстрела Тельнова.

Иван Гаврилович занял место убранного чекиста Чистякова, вот уж подлинно мерзкого в должности старосты. Перечтите еще

раз главу о Чистякове в передаче Силиги. Ведь то, чем он, Чистяков, отличился и чем восхвалялся потом в политизоляторе, соловецкие „базарные новости"-„параши", нет сомнения, частью приписали и новому старосте Тельнову, когда про Чистякова и память-то уже заглохла. Спасибо, спасибо Силиге, что напомнил!

Но и тут, в Кемперпункте, Тельнов тоже нажил врагов, и они, а может, в самом деле та московская коммунистка-красючка и угробили его. С Тельновым Лубянка расправилась не по-васьковски. Да и Кирилловскому дали по шапке. Не верится все ж, будто и Баринов, и Фельдман пришли поглазеть на расстрел Тельнова. Зачем им это нужно? Да еще наблюдать тошнотворную сцену, как вырывают золотые коронки у теплого трупа для пополнения валютного фонда красной Москвы. От такого „аттракциона" и матерый убийца отвернется.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Перечел предисловие и послесловие к своим книгам (1979 и 1980 гг.) о Соловках. Исправлять и дополнять словно бы нечего. Все главное сказано, если местами не в полный голос, то у кого уши не заложены, тот услышит, а глухому хоть сиреной вой – и ухом не поведет. „Оно, может, и правда, – скажут такие, перелистывая эти страницы, – да зачем нам это знать?" Так в 1940 году в Чикаго на своем докладе землякам о „Встрече с Россией" по письмам на убитых красноармейцах на финской войне услышал В. Зензинов* – оценку сообщаемого им. Что ж, кто чем питается, тем обычно и отрыгается. Такие и в темень без фонарей видны.

Не для них написан обзор воспоминаний соловчан соловчанином с необходимыми пояснениями. Для будущих историков и просто для трезвомыслящих. Книги концлагерников военных и повоенных лет читали многие, но только единицы – воспоминания соловчан двадцатых годов. Редко попадаются такие мемуары. И оценка читателем условий на острове отлично передается строчками Некрасова:

Что ему книга последняя скажет,
То на душе его сверху и ляжет.

Вот в помощь им – пополнить представление о концлагере в монастыре – я и проштудировал почти всю литературу о нем на нескольких языках. В одной книге найдете все главное, как наиболее достоверное, так и далекое от правды, чтобы можно было судить, кто и в чем из летописцев с острова заслуживает доверия, а кто и нет.

Попутно читателю легче будет уяснить, почему концлагеря первых пятилеток мало схожи с лагерями 40–80-х гг., годов разве-

---

* Активный противник большевизма в годы гражданской войны и эмиграции, один из руководителей партии правых эсеров.

систого... извините – „развернутого" социализма. И чем ближе большевизм к нему на словах, и чем дальше он от него по времени (от двадцатых годов), тем разительнее проявляется разница между этими лагерями во многом. И не к сносному бытию идет там дело, а к худшему. Трудно это понять тем, кто не был в советских лагерях в те годы, когда чекистов и гепеушников еще можно было делить на сволочных и на подходящих. Каждый из них тогда чем-то своим да отличался от других, что-то да сохранил в себе от „проклятого прошлого", нет-нет да оно в чем-нибудь и проявлялось в нем. А ныне они все служаки, бессловесные прислужники, холуи „большого брата".

Цензуры у нас тут нет. И вот, как видите, никому не кланяясь, не угождая изложением, издаю что считаю нужным, полезным и объективным.

Правды ради – о себе скажу, что за сорок лет ни одна из моих десятков статей о концлагерях ни „Новым Русским Словом", ни „Посевом" не выброшены в корзину. Лишь в трех статьях похерено по одному абзацу. Может быть, в самом деле, не стоило сомневаться печатно в правоте другого сидельца, будто у них только в одном из сибирских лагерей вскармливалось два миллиона младенцев, рожденных за проволокой. Да еще о Воркуте. Советовал сопоставить уже добытые там сотни и сотни миллионов тонн угля с несколькими десятками миллионов рублей, с толком и без толку затраченных Я. М. Морозом, В. А. Барабановым и Тархановым в тридцатых годах на освоение этого „белого пятна" мозолями и пóтом нескольких тысяч заключенных, в основном, из бытовиков и уголовников, да мозгами и страхом ответственности нескольких десятков инженеров, техников и экономистов из „вредителей", „шпионов" и „врагов народа и партии" А без таких „работяг" Воркута еще долго-долго оставалась бы „белым пятном". И не вина тех трех чекистов, что на Воркуту никогда не приезжали, как на Соловки, разгрузочные комиссии, а только „догрузочные' и расстрельные Ежова и Берии.

Только однажды я попытался подправить напечатанную в другом нашем издании публикацию о Соловках, но редактор оного был иных взглядов и так ответил:

„У нас, русских, есть не особенно приятная черта – обязательно охаять друг друга, охаивать. И вот если бы в вашей статье был бы только фактический материал, исправляющий напечатанную рукопись (очень ценную), я бы, разумеется, ее напечатал, но у вас так – обязательно охаять... Нужен фактический материал, а не „полемика" не „охаивание". Вашу прежнюю книгу „Завоеватели белых пятен" – я, конечно, знаю и очень ценю. Ваш ...".

Тем, кто прочел мои книги о Соловках и „Завоевателей"... об Ухтпечлаге и помнят мой лагерный опыт, едва ли нужно доказывать, что я совсем не страдаю „охаиванием", а наоборот, напрягаю всю память, все способности к тому, чтобы выводы мои вытекали из „фактических материалов", т. е. чтобы держаться правды, отсеивая заведомые небылицы и оставляя историкам разобраться в остальных разночтениях летописцев там, где по условиям это было свыше моих возможностей.

Нет спору, „вопрос о концлагерях страшный и серьезный", но зачем же еще более чернить черное и страшиться „полемики"? Из нее — учат — родится истина; это большевизму полемика не по нутру, а нам она в пользу. Неужто вредно, опасно взять под обстрел мой обзор о Соловках и д о к а з а т ь, что автор „охаивает очень ценную рукопись"? А я, кстати, и не отрицал ее ценности, как почти всех летописей, только вносил исправления и давал им общую оценку, выправлял, так сказать, дорогу, потому что по кривой далеко не уедешь.

Убежден (да нет места для десятков примеров) в том, что в лагерях большевизма заключенным сегодня куда хуже, нежели во вшивых, грязных, переуплотненных бараках двадцатых годов. А насчет — коли возразят — клеток с решетками в странах свободы, так обождите еще малость: будут! будут! В чем другом, а на этом участке „коэкзистенции" конвергенция продвигается быстро. Только в очередности расходятся. Тут упрятывают тела (и за дело), а про души мало думают, а там поставили первоочередной задачей запереть души в клетки, а тела успеют после; тогда их „из каучука можно делать" (Достоевский).

Вспоминают уже сейчас в этих „зонгородах" а тогда припомнят с еще большей тоской, что — повторю:

„Несмотря на все, Соловецкий лагерь был самым гуманным за все время существования советской власти" (Скрипникова в письме XXIII партсъезду, — воспетая Солженицыным в „Архипелаге" и оскорбленная по недомыслию В.В.М.).

Вот только насчет „самого гуманного" я придерживаюсь иной оценки. Для интеллигенции до 1934 года Соловки (да и другие лагеря, включая Колымский) были тогда, конечно, „гуманнее", чем для шпаны, заполнявшей канавы для покойников, зато у шпаны не было тоски по семье и страха за нее и за все будущее, которые мучили 58-ю. Гуманность, человечность — понятие относительное, расплывчатое: от кого она, кому, когда, за что, в чем и как? В лагерях для „гуманности" у каждого своя мерка и свои возможности оказывать ее или пользоваться ею.

Знаю, что наговорил порядком дерзостей, не удержавшись от хлестких фраз, и за свой грош иным стану нехорош. Потаскал

бы меня по голгофам кое-кто из ура-патриотов с крайних флангов разных „волн", да оснований-то к тому отыщут меньше, чем кот наплакал. А времени на пререкания с такими осталось в обрез. Заведут знакомую волынку про то, какая петля лучше: шелковая или веревочная. Им бы никакой. Многодумный вывод...

Видно, не доживу отвечать им. Уже пора и по летам, и по недугам „лечь под образа да и закрыть глаза".

Мих. Розанов

Август, 1986 г.

„...ПОСЛЕДНЕЕ СКАЗАНЬЕ..."

Пока набиралась третья книга – эти Дополнения, – получил с разных континентов письма от двух краснофлотцев. Между осенью 1939 г. и весной 1945 г. они служили в Учебном отряде Северного флота на Соловках. Что могла спустя почти полвека сохранить память матросов, кроме муштры и политдолбежки? Крохи! Но и они тоже ценны для истории. И те, кто сведущ в прошлом монастыря и концлагеря в нем, найдут в этих письмах строчки, которые скажут больше того, что знали моряки. Ведь о Соловках с конца 1939 года и до 60-х годов, когда в СССР появились первые статьи историков и писателей о состоянии, т. е. о разрушении национального историко-архитектурного памятника на Соловках, мы знали только одно: что там после лагеря была какая-то морская школа, да и адрес ее писался не „Соловки", а „Рабочеостровск".

Передам, чем поделились со мной моряки, добавляя от себя необходимые пояснения.

1. „Первый год, – сообщается в одном письме, – все матросы были заняты строительными работами, никогда не прекращавшимися (монастырский, концлагерный и ежовско-тюремный „ансамбли" переделывали в казарменный. – М. Р.). При одной из таких работ в зале (?! – М. Р.) монастыря, где были казармы, что-то загорелось в дымоходе. Огонь потушили и, разбирая дымоход, сняли камин и соседнюю громадную плиту. За плитой обнаружилась ниша, а в ней гроб из цельного гранита. Свежо в памяти, как искрился камень. С другой стороны дымохода был найден сундук с книгами и ризами и какими-то парчевыми лентами. Кое-кто из жен командиров этими лентами потом подвязывал портьеры. Братва вытащила гроб во двор, позвали командиров. Гроб не могли открыть и на моих глазах кувалдой разнесли крышку. Тащить эту махину никто не хотел. Думаю, она там по сей день лежит. Гроб вскрыли. Там был высохший и здорово сохранившийся покойник, весь в черном, с огромным крестом на груди. Крест, весь усыпанный камнями, забрал начальник – генерал-майор Броневицкий, и потом долго командирские жены сплетничали, отдал ли он его

в музей или нет. А старика приказали похоронить в лесу. Но моряки этого не исполнили. Они посадили его на пень в лесу у тропы. Сунули ему в рот папиросу, а в руки палку. Так он и сидел там, пока кто-то из собиравших ягоды в лесу не натолкнулся на него. Подняли шум, и генерал приказал зарыть его. Гроб же его потом долго валялся во дворе, рядом с каретой Петра I и могилой атамана запорожцев".

Вторая версия этой истории существенно отличается от первой. Передаю ее сокращенно.

„... В Кремле были очень маленькие комнаты (кельи. – М. Р.). Надо было создать для нас одну большую залу. И вот стали разрушать эти перегородки, – и в одной из них обнаружили этого монаха. Он был весь высохший, но одежда на нем очень хорошо сохранилась. На нем был крест на цепи и большой крест с разными камнями. Начальство сообщило о находке в Ленинград. Приехала комиссия, и ей все эти ценности отдали. А монашескую одежду (не с покойника, разумеется, а ту, что была в найденном сундуке. – М. Р.) отдали ленинградскому театру, какому не знаю... Рабочие, когда ходили на свой кирпичный завод, случайно обнаружили этого монаха. Пожаловались начальству. Тогда и был отдан приказ его закопать. А посажен он был в лесу у дороги с папиросой во рту и с грибом в руке..."

Во всех трех моих книгах о Соловках есть ссылки и выписки о вскрытии мощей Зосимы и Савватия в августе или сентябре 1925 г. комиссией, в которую чекисты включили трех епископов-заключенных и трех человек из своих. Член Географического общества Богуславский в книге „Острова Соловецкие" про архипастырей в комиссии дипломатично умолчал. Но ведь, кроме Зосимы и Савватия, в кремлевских храмах хранились под спудом (в наглухо заделанных раках) мощи других преподобных: основателя монастыря Германа и игумена (в 1612–1626 гг.) Иринарха, о существовании которых чекисты, вероятно, не знали. Останки их тоже были спрятаны монахами в разных местах; Зосиму и Савватия нашли, а остальных, видимо, и не искали. Через пятнадцать лет один из них случайно и нашелся. Очевидно, это был Иринарх. Века пролежал он под спудом в часовне под Александро-Невским приделом Троицкого собора. Подробности обо всех этих четырех (пятым был Елиазар, на Анзере) соловецких святых можно найти в энциклопедии Брокгауза-Ефрона, в изданиях Св. Синода, в Соловецком патерике и в книге „Монастыри Российской империи". Пока что в советских исторических и археологических журналах – тех, что довелось листать, – я ничего о „замурованном монахе" не нашел. Может быть, со временем о нем там что-нибудь и напишут. Московская патриархия, наверное, в курсе всей той истории, – но молчит „глуше мертвых".

2. Первую партию краснофлотцев доставил на Соловки наш старый лагерный „зэка-воз" – пароход „Глеб Бокий" (б. „Вера"), уже под названием СЛОН, безусловно странным для моряков. Откуда им было знать, что Бокий, член коллегии ОГПУ, уже попал в лапы к Ежову и ликвидирован! Ну, и приказано было спешно перекрестить судно, но чтоб не прерывалась „связь времен" его переименовали в СЛОН; лучше трудно придумать.

Моряков сразу же впрягли в работу по перестройке, а их командиров с семьями поселили в третьем (верхнем) этаже пристанской гостиницы (б. Управление СЛОНа); в нижних этажах разместился штаб. Потом тут обосновалась хозчасть отряда, а часть здания освободили под гостиницу.

3. Летом 1940 года возродилась легенда двадцатых годов о где-то спрятанных монастырских богатствах. Поскольку ни Ногтеву, ни Эйхмансу они не дались в руки, новые хозяева решили поискать их в родной им стихии – в воде Святого озера. И вот вывели весь гарнизон, расставили по берегу и приказали нырять, осматривать и ощупывать дно, где должны лежать „сокровища русской патриархии". Но и на сей раз „вытянули пустышку".

4. „Помню, – пишет морячок, – как началось строительство госпиталя. В этом месте была масса камней-валунов с именами на старославянском языке (речь идет о надгробиях. – М. Р.). Оказалось, тут было старое кладбище. Мы скатывали камни в залив, а в могилах (оказавшихся под фундаментом госпиталя. – М. Р.) находили золотые и серебряные крестики... Соседнюю часовню (т. е. церковь Св. Онуфрия. – М. Р.), приспособленную вначале под детский сад, разобрали на строительные нужды госпиталя. Что-то там нашли в стенах и в подземелье, о чем бабы долго судачили, но что именно – я точно не помню..."

Добавлю от себя, что на кладбище том зарыты были – конечно, без „валунов" и надписей, – расстрелянные и „просто умершие" – от тифа и других „невзгод" – заключенные; моряки об этом, должно быть, и не подозревали, а кто подозревал – знал, что надо молчать. Здесь уместно посоветовать читателю еще раз перелистать все три мои книги и найти в них различия в версиях Солженицына и Розанова относительно судьбы этого кладбища.

5. „Если вы старый соловчанин, – пишет моряк, – то должны помнить огромную карету Петра I во дворе („карета' для перевозки баркасов. – М. Р.), поблизости от какого-то черного надгробия на ядрах (на могиле Авраамия Палицына, знаменитого келаря Троице-Сергиева монастыря, деятеля Смутного времени. – М. Р.)".

Как же не помнить! Она хранилась, наряду с другими историческими реликвиями, в приделе Преображенского собора как часть

лагерного музея. Подробности можно найти в „Гранях" № 11, в очерке Г. Андреева „Соловецкие острова".

6. „Был в кремле музей, и заведовал им гражданский дядька (вольный) Монахов. Что с ним стало, куда он исчез внезапно вместе с музеем, понятия не имею, но, помнится, были там вещи, мало интересовавшие нас".

О „вещах' в музее рассказывают в своих книгах Никонов-Смородин и Б. Ширяев.

7. „Ни одного заключенного на острове уже не было. На кирпичном заводе работали вольные с семьями. Вольные же и рыбачили. Засол знаменитой соловецкой сельди обставлен был таким контролем, что лишь кое-кому из командиров удавалось раздобыть одну-две рыбешки. Ну, начальник-то политотдела отряда Чусов лакомился ею чаще, всю войну ведь отсидел на острове и больше всех нацепил орденов. Сельдь на Соловках же и засаливали, упаковывали в пяти- и десятикилограммовые бочонки и отправляли в московский Кремль".

Ну, и Лубянку, думаю, не обходили стороной.
Вот и все.

* *
*

Да, еще надо бы добавить одну фразу, изумившую меня в книге „Народная монархия" И. Л. Солоневича (часть 2-я, с. 52). В свое время – в 1934–1938 годах – он книгой „Россия в концлагере" прогремел на всех языках лишь чуточку тише, чем Солженицын „Архипелагом ГУЛаг". Вот эта фраза Солоневича:

„...И в советских концлагерях, в мое время по крайней мере (в 1930–1933 гг. в Белбалтлаге и в Свирских лагерях. – М. Р.), с заключенными и даже с обреченными обращались вежливее, чем не только в Дахау, но и в лагере Ди-Пи..."

Привожу здесь эту фразу для историков и для диссидентов, побывавших в лагерях страны „зрелого социализма" – в 1960-х и 1980-х годах. Иным современникам хоть кол на голове теши: уперлись на одном – и баста! Никаких, мол, там не происходит ужесточений, одни смягчения, – „все у них идет к лучшему в этом лучшем из миров". Да, моей плетью такого обуха не перешибешь...

„... И ЛЕТОПИСЬ ОКОНЧЕНА МОЯ".

Мих. Розанов

Май 1987 г.

ДОПОЛНЕНИЯ К БИБЛИОГРАФИИ В КОНЦЕ ПЕРВОЙ КНИГИ

А. НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ, страницы 295 и 297:

Первое дополнение, впереди всех остальных – Че-Ка. Материалы по деятельности Чрезвычайных Комиссий.
Издание Центр. бюро социалистов-революционеров. Берлин, 1922 г., 236 стр.

Второе дополнение, между Зайцевым и Андреевым – Соловки. Рукопись неизвестного соловчанина, опубликованная Р. Мартыновым в „Новом Журнале" № 141 за декабрь 1980 г., на страницах 146–175.

Третье дополнение, между Никоновым и Розановым – Память. Исторический сборник, номера 1, 3 и 4 за 1976, 1978 и 1979 годы, выпущенные в Москве и перепечатанные: первый – в Нью-Йорке в 1978 г., третий и четвертый – соответственно в 1980 и 1981 гг. в Париже.

Четвертое дополнение, между Витковским и Польским – В.В.М. Мои воспоминания (на фоне солженицынского „Архипелага ГУЛага"). Издание автора. США, 1977 г., 60 стр.

Все эти четыре дополнения – на страницу 295-ю.

Пятое дополнение – на страницу 297 – после книги Федорова „Соловки".
С. Д. Протопопов. Из поездки в Соловецкий монастырь. С рисунками и снимками. Типография И. Д. Сытина, Москва, 1905 г., 51 стр.

Б. НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ, страница 298:

Дополнение, вводимое ПЕРВЫМ, перед книгой Мальсагова „An Island Hell".
Letters from Russian Prisons. Published for the International Committee for Political Prisoners. New York, 1925, 317 p.

Сразу же за ним поместить следующее:
Literary Digest. Martyrdom of Soviet Political Offenders. January 1930. Pages 14, 15.

Далее следуют: книга Мальсагова и все остальные – *без изменений.*

Для справок читателю первых книг:

КНИГА ПЕРВАЯ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава 1. Соловецкие летописцы 13
Глава 2. Смутные годы – годы темные 32
Глава 3. „Столыпинские" у новых хозяев 41
Глава 4. Попов остров – преддверие Голгофы 47

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава 1. На заре ленинских Соловков 71
Глава 2. Голгофа встречает 78
Глава 3. На казенных харчах 90
Глава 4. Численность и судьба соловчан 112
Глава 5. Секирка 121
Глава 6. Девятый круг – в лесах 138
Глава 7. Френкель, френкелизация и придурки 174
Глава 8. Стукачи и Кондостров 192

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава 1. Концлагерные гости: коммунист Альбрехт, гуманист М. Горький, правдолюб М. М. Пришвин 199
Глава 2. Духовенство и сектанты 233
Глава 3. Лагерная „оттепель" и расстрельные приказы 265
Глава 4. „Аристократы"-социалисты 277
Глава 5. Кинофильмы „Соловки" и „Каторга" 284
Глава 6. Побеги... навстречу смерти 290

БИБЛИОГРАФИЯ

КНИГА ВТОРАЯ

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Глава 1. Долюшка женская 7
Глава 2. И музы приняты на службу 16
Глава 3. Библиотека, газета, журнал 27
Глава 4. Соловецкое общество краеведения 35
Глава 5. Ударниками добивают 38
Глава 6. Кремлевские роты 40
Глава 7. Их еще не забыли 48

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

ТАК БЫЛО В СТАРОЙ РОССИИ

Глава 1. Русская уголовная каторга 74
Глава 2. Этапы 79
Глава 3. Три разряда каторги 81
Глава 4. Рабочее время 83
Глава 5. Смертность и болезни 85
Глава 6. Пища. Одежда. Побеги. Религия. 88
Глава 7. Положение грамотных каторжан 93
Глава 8. Подлинные хозяева каторги 94

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

Глава 1. Сахалинские сожительницы 98
Глава 2. Онорская дорога 104
Глава 3. Амурская „колесуха" 107
Глава 4. Обвыкнешь, так и в аду ничего 111
Глава 5. Ландсберг 116
Глава 6. Сонька – золотая ручка 119
Глава 7. Майор Николаев 123

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

Политические на Сахалине 124

ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ

Ссылка под надзор архимандритов 134

Послесловие составителя 163

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН 169

СОДЕРЖАНИЕ

От составителя 5

Вставки, сноски и поправки к первой книге „Соловецкий концлагерь в монастыре" 7

Вставки, сноски и поправки ко второй книге „Соловецкий концлагерь в монастыре" 59

Вместо послесловия 76

„... последнее сказанье..." 80

Дополнения к библиографии в конце первой книги 84

Для справок читателю первых книг 85